# Иди до конца

# Сергей Снегов

1

— Ты дурак, — разъяснил Щетинин. — Тебе сорок два года. Сколько ты еще собираешься работать на чужого дядю?

Он с осуждением смотрел на Терентьева. Они обедали на верхней веранде ресторана «Москва». В бокалах посверкивала хирса. Терентьев не любил портвейнов, но этот был неплох. Терентьев улыбнулся и отпил глоток.

— Дядя не совсем чужой. Мы не пауки, что ткут паутину для собственной пользы. Мне кажется, ты забываешь о цели наших работ.

Щетинин опорожнил свой бокал и налил снова. Он не переносил возражений.

— Я забываю только о том, что ты не разбираешься в простых вещах. Речь не о прекрасных общих целях, а о вполне конкретном печальном факте — тебя обворовывают. Ты трудишься, а другие твой труд используют для своих диссертаций...

— Если ты о Жигалове...

— Я не о Жигалове. О нем спорить нечего. Жигалов ясный. В институте давно острят, что его призвание — соавторство. Он лез в сотрудники, вползал в помощники. Теперь соавторство — его штатное право, с этим ничего не поделаешь. Он уже не примазывается, а привередничает — его упрашивают присоединиться, он раздумывает, иногда отказывает. Если хочешь, твоя беда именно в том, что он не напрашивается в руководители...

— Я тебя не понимаю, Михаил.

— Еще бы ты понимал! Ты даже не догадался, что я толкую не о Жигалове, а о Черданцеве.

— Ну, положим, не так трудно было...

— Брось! Даже мысли не явилось. Я вижу тебя насквозь. Удивляюсь, как ты с подобной проницательностью еще разбираешься в своих ионах. Все твердят, что ты талантлив. Если это так, то главная черта таланта — туповатость. Не спорь, не хочу слушать!

Он все больше сердился. Терентьев поднял бокал. Солнце выползло из-за купола Ивана Великого, и хирса вспыхнула, как подожженная. Щетинин отвернулся от Терентьева. Тот засмеялся и покачал головой. Все это становилось попросту смешным. Щетинин уверовал, что только его заступничество спасает Терентьева от непоправимых ошибок в обращении с людьми. Маленький, порывистый, страстный в словах и поступках, он с некоторых пор, забрасывая собственные дела, ревниво навязывал свою — не всегда приятную — помощь. Терентьев не мог набраться духу отклонить эту настойчивую опеку. Он боялся обидеть Щетинина, к тому же сознавал, что и вправду мог наделать промахов. В трудных случаях Терентьев отмалчивался или посмеивался, добродушная улыбка не раз смиряла разбушевавшегося друга.

— Итак, Черданцев, — заговорил Щетинин снова. — Это штучка с ручкой. Он хуже Жигалова. Тот честный склочник и соавтор. Такого еще можно терпеть, во всяком случае, легко нейтрализовать. А Черданцев — пролаза, проныра, прощелыга... Пробойный пройдоха!

Терентьев заулыбался еще шире.

— Все эпитеты начинаются с «про».

— Именно! Прохвост — одно слово! Ты его недооцениваешь. Такого пусти, он и Ньютона обдерет как липку. А Ньютон был умнее тебя, он не любил делиться неоконченными работами.

— Что же, отказать человеку в совете, которого он просит?

— Советы? Расшвыриваешь мысли, как окурки. Ходи и подбирай, а потом пиши книгу.

— Из подобранных мыслей книги не составить. А если и удастся, я от этого но обеднею.

— Хочешь, я скажу тебе такое, что тебя потрясет? Он отобьет у тебя Ларису, вот руби мне голову топором, если не так!

— Нельзя отбить того, чем не владеешь.

— Во-во! И не будешь владеть, пока Черданцев толчется около...

Разговор выходил за рамки обычной дружеской беседы. Терентьев сухо проговорил:

— Давай закругляться, нам скоро на ученый совет.

— Я ведь к чему? — сказал Щетинин, подзывая официантку. — Вижу твою слепоту и удивляюсь твоему простодушию. Люди хуже, чем кажутся, я в этих делах ясновидящий — проникаю на три метра в глубину. Не хулигань, Борис, плачу я! Девушка, мои бумажки лучше!

Допивая вино, Терентьев глядел на площадь. Сквозь частую металлическую сетку, опоясавшую веранду кафе, виднелись башни Кремля, улица Горького, брусчатка Красной площади. Человеческие реки текли по улицам, пересекали площадь — люди, свободно идущие куда хотят, люди — он так тосковал по ним в своем недавнем одиночестве! Терентьев улыбался, ему было хорошо от вида этих незнакомых людей — они казались игрушечно маленькими с высоты четырнадцатого этажа.

— До совета сорок пять минут, — сказал Щетинин. — По московским условиям это только-только, чтоб добраться.

В Охотном ряду толпа была такой густоты, что походила на движущуюся стену. Щетинин легко проник в подвернувшуюся расщелину между пешеходами, потянул за собой неторопливого большого Терентьева, их понесло, тесня к середине: шел час «пик», главный из «пиков» — окончание работы. Терентьева толкали с боков, давили сзади, отпихивали спереди. Это было как раз то, чего он желал. Каждый стремился поособь, никто не спрашивал, куда торопится другой, ни над кем не тяготела чужая воля, которая много лет предписывала Терентьеву все его шаги. А внешним выражением свободы был весь этот кажущийся беспорядок; Терентьев наслаждался и толкотней и давлением, сам толкался и напирал на впереди идущих, отпихивал нетерпеливых. Охваченный веселым озорством, он еще увеличил беспорядок движения, вдруг для чего-то начав проталкиваться к краю тротуара, потом снова к середине. На него с недоумением оглядывались, кто-то выругался сквозь зубы. «Чрезмерно большая личная свобода становится произволом, ибо ограничивает права других людей на их индивидуальную свободу!» — насмешливо подумал Терентьев философской формулой. Он постарался идти поспокойнее, не тесня соседей без нужды.

Щетинин не подозревал, какие ощущения одолевают друга. Щетинин изнемогал, старался вырваться из потока.

— И какого дьявола тебе понадобилось обедать в центре? — ворчал он. — У нас в обжорке не хуже, сколько раз проверял.

Терентьев не отвечал. Словами трудно рассказать о чувствах, надо было описывать в подробностях очень непростую жизнь — вряд ли бы захотел с ней сейчас разбираться Щетинин, он обычно довольствовался двумя-тремя фактами. Щетинин энергично свернул налево. Теперь их перетаскивало на другую сторону улицы, к Пушкинской, к остановке троллейбуса. Терентьев прикрыл веки. Не глядя, он безошибочно шел в нужном направлении, им командовала толпа, оставалось лишь подчиняться.

— Чего ты? — удивился Щетинин. — Вдруг зашатался!..

— Неважный портвейн, — ответил Терентьев, открывая глаза. — По вкусу хорош, а на деле подкрашенный спирт. Голова кружится.

2

Лаборантка Лариса Мартынова, чуть не плача, швырнула пальто на стенд. Шла седьмая минута десятого. Не было утра, чтоб Лариса явилась вовремя, это становилось обычаем — ежедневные получасовые объяснения по поводу минутных опозданий. Табельщики института дружно ее ненавидели, она врывалась, как раз когда запирали доску с неперевешенными номерками, и запальчиво доказывала, что их часы спешат. Терентьев защищал ее от нападок, при нужде она без ропота задерживалась в лаборатории целые часы, это вполне компенсировало утреннюю неаккуратность. Но директор института Жигалов не соглашался с Терентьевым — фамилия Ларисы часто появлялась на доске приказов в сопровождении выговоров, сменявшихся в стройной последовательности: простые, строгие, с предупреждением, с последним предупреждением, потом снова простые и строгие.

Сегодня Ларисе не удалось вырвать свой номерок у несговорчивого табельщика, это грозило новым вызовом к Жигалову и неизбежным очередным выговором. Она всхлипнула, упала на стул и сердито отвернулась от Терентьева. Он был в ответе за все ее жизненные неприятности.

— Проспали, Ларочка? — посочувствовал Терентьев. — У вас глаза опухли.

— Ничего не проспала! — огрызнулась она. — И не глаза, а веки. Всю ночь плакала.

— Опять в кого-нибудь влюбились? Кому же на этот раз выпало такое горе — ваша любовь?

Лариса с негодованием взглянула на него, на секунду прищурившись. Она была близорука, но скрывала это. Ей казалось, что очки уродуют лицо. Она легко ориентировалась среди нечетких силуэтов окружающего мира и даже в театр и кино не брала очков. Когда ей нужно было что-нибудь внимательно осмотреть, она прищуривалась — на мгновение, не больше, пристальный взгляд был короток и резок. Терентьев, не говоря ей об этом, часто удивлялся, как много и точно она успевает увидеть за время этого стремительного, как удар, взгляда.

Разглядев, что Терентьев настроен добродушно, она рассмеялась.

Лариса увлекалась стихийно и преднамеренно, по случаю и из принципа, превращая свои привязанности в подобие игры. Месяца два назад она признавалась, что сходит с ума по известному драматургу, умному, язвительному и больному. У него имелась жена, двое детей и четверо нежно любимых внуков. Лариса в отчаянии спрашивала Терентьева, как поступить, если драматург разведется и сделает ей предложение, — отказать не хочется, а согласиться страшновато, все-таки сорок семь лет разницы, да и старушку жену нехорошо обижать, она добрая. Терентьев не верил ни одному ее слову и, смеясь, давал неисполнимые советы, Лариса, тоже смеясь, обвиняла его в бессердечности. Драматург внезапно скончался, решив тем все затруднения. Сердце Ларисы теперь было пусто, перенести этого она не могла.

Терентьев не ошибся — причина опоздания была в новом увлечении.

— Я вчера попала на эстонский хор, — делилась Лариса переживаниями. Она хлопотала у стенда, собирая схему нового опыта, и искоса поглядывала на Терентьева: действуют ли на него ее признания. — Они пели, кажется, «Реквием» Моцарта — что-то очень торжественное и скучное. Под такую музыку хочется умереть. Вы не поверите, какой у них дирижер — высокий, изящный Я час бродила по улице после концерта, чтоб поговорить с ним, но он вышел с певцами. Как вы думаете, Борис Семеныч, он женится на мне, если мы познакомимся?

— А вдруг он женат?

— Вот этого я боюсь. Такие люди почему-то всегда женаты.

— Вероятно, в этом виноваты женщины — не дают проходу хорошим людям, пока не утащат в загс.

— Ненавижу женщин, они хищницы. Не понимаю, что находят в них мужчины.

— У мужчин плохой вкус, Лариса, с этим приходится мириться.

— Борис Семеныч, вы на меня не рассердитесь?

— За что? Что вы не поговорили с вашим дирижером и от этого всю ночь проплакали?

— Нет, за то, что я купила вам два билета на сегодняшний концерт. Вы сможете посмотреть, так ли он красив, как мне показалось. Я говорю о дирижере.

— Почему же два билета?

— Вам, наверно, захочется кого-нибудь пригласить.

— Конечно! Я приглашаю вас — не возражаете?

— Ладно, пусть меня. Я знала, что вы меня пригласите. После работы я заеду домой и переоденусь, и мы отправимся на концерт. Мы сегодня работаем с сернокислыми солями или хлоридами?

— Сегодня исследование сернокислых растворов.

Приступая к опытам, Лариса преображалась. Только что она бегала по комнате, взмахивая кудряшками, смеясь и болтая. Теперь она наклонялась над приборами и склянками, руки ее неторопливо поднимались и опускались, она вся замедлялась, словно переходя на иной ритм, становилась от сосредоточенности рассеянной — нужно было повторять по два раза, чтобы она услыхала. Обычная говорливая Лариса смешила и забавляла Терентьева — этой, молчаливо трудившейся с ним бок о бок, он восхищался.

Дело было не в том, что Лариса прилежно работала. В их большом, хорошо устроенном институте старательные лаборантки имелись в каждой группе. Перемена, происходившая с Ларисой, едва она подходила к стенду, была подобна внезапному скачку из одного возраста в другой. Взбалмошная девчонка, кокетничавшая своими выдуманными увлечениями, вдруг превращалась во взрослую женщину, слишком даже вдумчивую и серьезную. Терентьев украдкой любовался Ларисой. Только в эти минуты молчаливой сосредоточенности и можно было ее разглядеть. Пока она болтала, бегая из одного угла в другой, приходилось отвечать на неожиданные вопросы, парировать выпады. Терентьев добродушно сносил ее озорство. «Боже, какая же она девчонка, подросток, подросток!» — думал он, усмехаясь. У нее и лицо было подростка — еще не округлившаяся, задорная рожица школьницы, грозы мальчишек. Терентьев ощущал себя пожилым человеком рядом с нею. Это ощущение пропадало, как только она брала в руки приборы. Становилось видно, что маленькая головка с растрепанными волосами и лицом подростка сидит на хорошо развитом теле. Было какое-то несоответствие между порывистым движением и легкомысленными разговорами Ларисы и ее вполне созревшей, немного даже утяжеленной фигурой. Это несоответствие еще подчеркивалось короткими платьями, в которых она ходила. Терентьеву, склонному к философствованию, представлялось, что здесь выражается противоречие между внешностью и сутью: лицо и поведение Ларисы остались от детства, а фигура говорила о сегодняшнем дне, даже о завтрашнем — та, завтрашняя Лариса, вероятно, окажется медлительной, малоразговорчивой и вообще вполне положительной особой.

Он, впрочем, не углублялся особенно в эти соображения, чтобы не смущать Ларису очень уж бесцеремонным разглядыванием.

Терентьев прошелся по комнате, остановился перед окном, снова сделал несколько шагов и сел за стол. Он обвел — уже рассеянными глазами — помещение. Он всегда так начинал работу — сперва шагал, потом садился и осматривался. Он любил свою лабораторию. Она была залита светом, заставлена механизмами и посудой, опутана воздушными и водяными трубами и электрическими кабелями. Вдоль одной стены, между окнами, поднимались шкафы с реактивами и растворами, у другой стоял письменный стол и рядом с ним трехметровый стенд, за которым работала Лариса. На стенде громоздились приборы, моторчики и регуляторы — схема задуманного Терентьевым еще десять лет назад исследования причин, определяющих активность ионов в растворах. Посередине стоял водяной термостат — ванна с подогревателем я закрепленным в воде сложным сооружением, похожим на игрушечную карусель; в двенадцати его гнездах, кольцом обвивших центральный контрольный электрод, сидели стаканчики с испытуемым раствором. Четыре самописца на щите регистрировали электрические потенциалы проб, под ними стоял ручной потенциометр — для проверки показаний.

Комната казалась тесной, как почти все химические лаборатории, но в ней была своя внутренняя гармония — ничего лишнего, ничего про запас. Она походила на маленький цех — когда в ней работали, все приходило в движение или помогало движению. Щетинин утверждал, что комната эта чем-то напоминает самого Терентьева. «Ты такой же — путаный и простой», — шутил Щетинин.

Лариса, закончив приготовления, повернулась к Терентьеву.

— Сегодня держите шестьдесят градусов, — сказал он.

Он отвернулся от стенда, склонился над данными измерений, нанесенными на график. За спиной глухо зарычал мотор крыльчатки, размешивающий воду в термостате, зашипел подогреватель. Кривые, вычерченные на миллиметровке, были неожиданны. Терентьев поднял голову. Над столом висели два портрета, фотографии, вырванные из книг. Книги протащить с собою по мытарствам не удалось, грузу и без них хватало, но эти два портрета, запрятанные в чемоданчик, прошагали с ним не одну тысячу километров. Справа высоко запрокидывал седовласую голову Вант-Гофф, он был похож на поэта: вдохновенное, удивительно молодое лицо озарялось изнутри, глаза глядели ввысь, он словно вслушивался в то, что пело в нем, — точно таким, как и сам он, были его теории, самое поэтичное, что знает физическая химия. А слева, хмуро свесив казацкие усы, вглядывался Сванте Аррениус: одень его в свитку, привесь саблю сбоку — точь-в-точь запорожец, в крайнем случае чумак. Терентьев перенес рассеянный взгляд с Вант-Гоффа на Аррениуса, уперся в пустое пространство между фотографиями. На стене были те же кривые, что и на бумаге, лежавшей перед ним. Куда бы он ни поворачивал голову, он видел их.

Кривые были больше чем неожиданны. Они до того оправдывали предположения, что он не смел в них поверить.

3

Размышления Терентьева прервал Черданцев — аспирант, работавший в группе осаждения металлов из растворов. Официальным руководителем его темы был академик Шутак, но тот редко появлялся в лаборатории, его чаще видали на торжественных заседаниях, правительственных приемах и международных конгрессах. «Евгений Алексеевич разговаривает со мной лишь с экранов телевизоров», — шутил Черданцев. Может быть, поэтому он искал помощи Терентьева. Тихая комнатка Терентьева с некоторого времени привлекала Черданцева больше, чем шумный кабинет академика.

Терентьев, не отрываясь от своих кривых, показал Черданцеву на стул, но тот прислонился к стенду, дожидаясь, пока Терентьев освободится. Черданцев дружески кивнул Ларисе. Она повернулась к нему спиной.

Черданцев обращался с молодыми лаборантками института со снисходительной вежливостью и терпеливым равнодушием. По-настоящему он увлекался лишь стоим делом. Лариса не терпела самовлюбленных мужчин. Ее раздражала даже внешность Черданцева. Худощавый черноволосый аспирант был довольно красив, но в его бледном лице с тонкими бровями и подбритыми в полоску усиками была какая-то деланность, почти женственность — единственное, чего всерьез не переносила у мужчин Лариса. Когда Черданцев разговаривал с Терентьевым, Лариса украдкой сравнивала их. Терентьев был старше лет на пятнадцать, но не в пример лучше. Он возвышался над Черданцевым почти на голову, все в нем было крупно и крепко: мощные плечи, массивная голова с рыжеватыми волосами, большой нос, большие губы, большие руки, покрытые такой же рыжеватой шерстью. Терентьев походил скорее на грузчика, чем на ученого. Лариса про себя всегда удивлялась, до чего ее руководитель не академичен. Ей нравился необычный для научного работника облик Терентьева, нравилось даже то, что пиджак сидел на нем широким мешком и что зимою Терентьев ходил не в шляпе, как было принято в институте, а в какой-то нездешней — рыжего всклокоченного меха — шапке-ушанке. Но хоть она признавалась Терентьеву в каждом своем маленьком увлечении, об этом, о своем отношении к нему самому, она и не заикалась. Зато тем суровей она держалась в его присутствии с Черданцевым и Щетининым, двумя химиками, чаще других заходившими в лабораторию.

Когда Терентьев поднял голову от бумаг, Черданцев пожаловался:

— Голова гудит, как котел. Вся гидрометаллургия пошла прахом. С каждым днем непонятней.

Терентьев видел, что Черданцев огорчен.

— Покажите, что там у вас, Аркадий.

Черданцев протянул свои записи. В его опытах металлы при помощи специальных реагентов переводились из растворов в осадок — несложная химическая реакция, такие известны каждому студенту. На заводах этим приемом — добавкою щелочей и других веществ — разделяют сотни тонн смесей. Черданцев искал способ, чтоб разделение проходило с максимальной полнотой и скоростью, а расходы дорогих реагентов свелись до минимума. Иногда ему казалось, что способ этот найден, и Черданцев торжествовал, но вскоре обнаруживалось, что до решения далеко: все запутывалось в несуразицах.

— Черт знает что получается, — растолковывая свои затруднения Черданцев. — Я собирался дать теоретическое обоснование элементарным производственным процессам, а в результате теряю уверенность в том, что известно каждому мастеру с семиклассным образованием.

Терентьев проверил на линейке расчеты реагентов. Арифметических ошибок не было, неполадки начинались где-то глубже. Он поревел взгляд с таблиц Черданцева на свои кривые. Черданцев снова посмотрел на Ларису и усмехнулся, когда она опять показала спину, — его забавляла непонятная вражда этой девушки. Когда она появилась в институте, он попробовал поухаживать за ней, но натолкнулся на обидный отпор. Урок этот он хорошо запомнил, но про себя удивлялся ее строптивости. Дело, однако, сегодня было серьезное, не до капризных девчонок.

— Странное явление, — задумчиво сказал Терентьев. — Расчеты не соответствуют тому, что вы обнаружили реально.

— Именно, — подтвердил Черданцев. — Все расчеты врут. Но это было бы еще ничего. Нет закономерностей — в одном опыте одно, во втором второе. Смотрите, в этом процессе не хватает щелочи, а здесь появляется ее избыток. Почему?

— Странное явление, — повторил Терентьев. — Похоже, что в некоторых случаях активность ионов, участвующих в реакции, внезапно падает в десятки раз. Только что этот ион бешено скакал в растворе, расталкивая встречающиеся молекулы, хватая и отбрасывая соседние ионы — в общем, гарцевал лихим казаком. А теперь он плетется на тряпичных ногах, с мутной головой...

— У вас удивительный способ выражать мысли, Борис Семеныч! Атомы одеть в казацкую форму...

— Мне удобнее так, Аркадий: яснее воображается...

— Я бы хотел рассчитывать, а не воображать. Воображение приличествует больше поэзии, Борис Семеныч.

— Сами же вы признались, что ваши расчеты врут, — заметил Терентьев. — Воображение хорошо уже тем, что не требует арифметической точности.

Лариса молча положила на стол результаты сегодняшнего опыта, набросанные карандашом на миллиметровку. На графике змеилась кривая активности иона водорода. Терентьев знал, что обязательно получится что-нибудь в этом роде, но Черданцев был потрясен. Водород, самый активный ион чуть ли не всех растворов, тот, что определяет течение химических реакций и жизненных процессов, здесь, на этом клочке бумаги, был изображен инвалидом, активность его падала до сотых долей обычной величины.

— Ну и ну! — воскликнул Черданцев. — Коэффициент активности ниже одного процента — здорово!

Терентьев подошел к щиту с четырьмя самописцами. Каждый прибор писал три кривые — по одной на пробу в термостате, двенадцать цветных линий. Глухо ворчали моторчики, щелкали переключатели, одна точка ложилась к другой, линии отклонялись вправо, поворачивали влево, выпрямлялись — обычная картина степенно протекающей реакции. Но в какой-то точке, одной для всех кривых, они словно вставали на дыбы, путались и переплетались — самый вид их говорил о смятении, беззвучном взрыве, потрясшем весь механизм реакции. Черданцев смотрел на Терентьева снизу вверх. Тот облокотился на стенд, чтобы не смущать аспиранта своим ростом, и водил рукой по диаграммным лентам, рассказывая, над чем они с Ларисой работают. Потом он попросил Ларису дополнить его объяснение, но она заявила, что не может, у нее как раз серия срочных измерений. Терентьев возвратился к столу. Черданцев продолжал наблюдать за манипуляциями Ларисы. Он задумался, у него стало унылое лицо, он сразу потерял так раздражавший ее самоуверенный вид.

— А ведь у вас обыкновенная водица и примеси металлов! — сказал он со вздохом. — У меня же каша из металлов, раствор гуще пшенного супа. Какие же там, черт подери, происходят потрясения? И где верная дорога во всей этой путанице?

— Ищите, — посоветовал Терентьев. — Кто ищет, тот находит, — это единственный закон, который сохраняется при всех переворотах в науке.

4

Когда Черданцев ушел, Лариса сказала:

— Чего он шляется? Терпеть его не могу!

Терентьев, разговаривая с Ларисой, рассеянно глядел в окно.

— Вы не сговаривались со Щетининым? Он тоже не переносит Черданцева. И, по-моему, напрасно!

— И вашего Щетинина не люблю, каждый день отрывает нас от работы. Вообще никого не люблю!

— Неправильно, сегодня вы влюблены в эстонского дирижера.

— А что? Он хороший. Только таких и надо любить. Вечером я сообщу ему, что согласна быть его женой.

— Раньше надо познакомиться с ним.

— Вы подойдете первый и скажете: «Познакомьтесь с моей лаборанткой». Вы обедать не пойдете?

— Пока не хочется. А вы?

— Мне не до обеда. Надо идти к Жигалову оправдываться за опоздание. Напишите за меня объяснение, Борис Семеныч.

— Охотно, Ларочка. Пишите: «Опоздала на пять минут, ибо вчера вечером влюбилась и всю ночь проплакала. Завтра, после объяснения с любимым, опоздаю на десять минут».

Лариса бросила карандаш и вздохнула.

— С вами скучно, вы ничему не верите. Как же вы без обеда пойдете на концерт?

— Давайте вместе пообедаем перед концертом. На площади Маяковского есть неплохой ресторанчик — «София».

Лариса оживилась.

— Лучше в «Пекине», это рядом. О «Пекине» много говорят. Там креветки, трепанги, морская капуста, очень, очень вкусно!

Лариса знала все рестораны Москвы, хоть еще ни в одном не бывала. Ей не везло. Все ее подруги хоть разок ужинали в ресторанах, у них ребята были народ солидный: приглашали и в театр, и на танцы, и поесть под музыку. Ей же пока не выпало на долю ни одного взрослого поклонника. Приглашение Терентьева так ее обрадовало, что она спокойно вынесла вызов к директору и пятиминутную проборку.

— Удивительно скучный человек Кирилл Петрович, — сказала она, возвратившись. — Дальше выговоров его фантазия не идет. Интересно, что бы он делал, если бы его назначили главным палачом римского императора?

— Вы мечтаете о пытках за опоздания? — пробормотал Терентьев, не отрываясь от бумаг. Он ловил какую-то важную мысль, она была рядом, он это чувствовал. Мысль ускользнула, не открывшись. Терентьев повернулся к Ларисе. — Что он вам сказал?

— Нет, о пытках не говорили... Он признался, что если бы не вы, так давно бы выгнал меня из института, не хочет с вами ссориться. А я ответила, что с удовольствием уберусь, его старушечье лицо мне надоело. Он вскочил, и затопал ногами, и закричал на весь второй этаж. В общем, разговор прошел довольно мирно.

Терентьев покачал головой. Лариса фантазировала, как всегда. Вероятнее всего, она стояла перед Жигаловым опустив лицо, красная и молчаливая, тот, возможно, пожалел ее, может, даже потрепал по плачу, приказывая больше не опаздывать, — он иногда становится добряком.

— Собирайтесь, — сказал Терентьев. — На сегодня хватит. Вам ведь еще надо переодеться.

5

В этот вечер эстонский хор пел ораторию Баха «Страсти по Матфею». Для любителей музыки был большой день, уже много лет эта вещь не исполнялась в Москве. Перед концертным залом толкались многочисленные неудачники, выпрашивавшие лишние билетики. Ларисе не везло только с ресторанами, концерты она посещала аккуратно и сумела достать хорошие места — левый амфитеатр, кресла у самой сцены. Терентьев оглядывал зал. Зрители рассаживались и разворачивали программки: мужчины в темных костюмах, нарядные немолодые дамы, девушки в легких платьях, парни в теннисках... Зал размеренно гудел многоголосым сдержанным гулом. Терентьев улыбался — хорошо, когда вокруг тебя столько людей!

За пять минут до начала зал наполнился, и билетеры прикрыли дверь. Только в третьем ряду оставалось несколько свободных мест. Терентьев посматривал на них, его раздражали эти пустые кресла. Потом в проходе появились два человека, один неторопливо шел, другой бережно и незаметно придерживал его под руку. Они направились к пустующим местам. Терентьев узнал этого бородатого, медленно шагавшего человека. Кровь жарко бросилась ему в лицо, ладони стали влажными. Если бы пришлось вдруг заговорить, он заикался бы, как школьник, пойманный на шалости. Он не мог отвести глаз от человека с длинной — лопатою — бородой. На сцене становились тремя рядами певцы, в оркестре музыканты настраивали инструменты, зад гремел ладонями, молодой дирижер раскланивался — Терентьев не поворачивал головы.

Лариса с негодованием дернула его за рукав.

— Вы неприлично ведете себя, Борис Семеныч! Смотрите на дирижера. Не терплю бород! Кто это такой?

— Это один ученый, знаменитый советский физик. Вот не ожидал, что он любит музыку...

— Говорю вам, смотрите на дирижера! А физика вашего я знаю. Он ездил с Хрущевым в Англию, я видела в кино. Вы с ним знакомы? Почему он заинтересовал вас?

— Нет, так, Ларочка. Один раз в жизни я разговаривал с ним — двадцать лет назад...

— Боже, как давно! Что же вы сказали ему тогда?

— Что я сказал ему? Знаете, Ларочка, я, кажется, ничего не сказал... Говорил он, а я слушал. Он говорил, потом улыбнулся. Я до сих пор помню его улыбку. Она горела многие годы во мне.

— Это верно, улыбкой можно... Будем молчать, они начинают!

Терентьев не любил церковной музыки. Она уносила душу в безлюдные выси, а ходить нужно было по земле. В ней таился холод величественной пустоты, а Терентьев тосковал но толкотне общения. Он рассеянно прослушал первые такты, басы загремели, зазвенели женские голоса — разворачивалась несложная история споткнувшегося на человеческой дороге бога. Бог въезжал в столицу на царство и попадал в тюрьму, начинался пристрастный человеческий суд. В оркестре поднималась буря, голоса, словно волны, прокатывались по трем рядам певцов на сцене — могучая музыка, против воли Терентьева, подхватила его и увела. Он все глядел на человека с ассирийской бородой. Он словно встретился с собою, молодым, полным веры в свое будущее, то самое будущее, что уже стало прошлым. «Игорь Васильевич! — шептал Терентьев, покачивая головой. — Игорь Васильевич!»

Это было давно, так страшно давно, как бы в иной жизни! Гранитная набережная Невы, надменная громада Исаакия, вычурные ростры перед биржей, свинцовые волны, свинцовое небо — суровый город, великолепный город, страстная юность моя! С папкой под мышкой ты с робостью входишь в здание, где провел пять трудных, пять вдохновенных лет, — сегодня надо с ним проститься, учеба кончена, от этого, вероятно, и робость, — ты здесь уже наполовину чужой. Нет, не от этого: сегодня твой доклад, последняя студенческая работа, первое научное исследование. Как бы ты хотел, чтоб все твои учителя и друзья собрались послушать тебя, просто увидеть с этой папкой, нет, это было бы слишком хорошо и страшно! Но надо же быть такому совпадению! Что их собрало здесь, этих дорогих тебе людей? Вот идет Алексеев, еще молодой профессор, твой первый учитель литературы, он всматривается близорукими глазами, протягивает руку. Здравствуйте, Михаил Павлович, у меня сегодня доклад, знаете? Нет, я спокоен, спасибо на добром слове! Помните, вы говорили, что я буду писателем, вы ошиблись, я физик, точнее, химик-физик, так оно забавно получилось. Он улыбается, тяжелая дверь захлопывается за ним, хороший это признак — первым повстречать такого человека! А дальше, в бесконечном коридоре, знакомый за знакомым. Стремительный, с юных лет знаменитый Козырев, создатель новой теории звездных атмосфер, он машет тебе рукой и проносится мимо, он всегда так мчится — догоняет свои фантазии, ослепительные свои мысли, не успеваешь оглянуться — блистательного Козырева уже нет. Иначе держится светловолосый красавец Глушко, высокий и элегантный. Этот человек пересекает твой путь, останавливает тебя. Он не только убежден, что гениален — кто не ощущал в себе гениальности, обычное самочувствие талантливых юнцов! — нет, он знает, что в его исключительности уверены другие; что же, он не очень ошибается, он, конечно, на голову выше нас всех, что же тут поделаешь? Это было давно, двадцать лет назад, даже больше, с той поры он прошел свой нелегкий жизненный путь, добрался до космических высот — заслуженная, выстраданная высота...

— Ну-ну! — говорит он. — Ни пуха ни пера, Борис! Еще раз советую — подумай. У меня в лаборатории место для тебя найдется.

— Нет, — говоришь ты. — Спасибо, на добром слове, Валентин. У тебя лаборатория не моего профиля.

Валентин уходит, а тебя перехватывает Полак, веселый, всегда смеющийся умница Полак, остряк, блестящий лектор Полак, он еще путался тогда между философией и физикой.

— Левушка, — говоришь ты, — какими судьбами?

— На твой доклад, конечно, — отвечает он.

— Да там же ничего из Шеллинга и Канта не предвидится, к чему тебе?

— Прошу без шуток! Ходят слухи, что ты растворяешь соль в воде с помощью квантовой механики — верно, Боря? Уравнение Шредингера и щепотка соли — надо, надо послушать!

Нет, это было чудесно, столько радостных встреч, столько хороших слов! Аудитория полна. Тебя встречают сдержанным шумом, кто-то из друзей пытается аплодировать, ты начинаешь свое сообщение. И тут — непредвиденный — входит он, тот самый, из третьего ряда... Что привело его? Может, он просто ошибся дверью? На него оборачиваются, ему, наверно, надо было извиниться и уйти, он опускается на свободное местечко, он слушает, внимательно слушает, надо слушать, раз попался, — так, возможно, это было. А ты глядишь на него, адресуешь ему гордые слова: «Известный химик как-то сказал, что все наши теории справедливы лишь для слегка загрязненной водицы. Концентрированные растворы, с которыми оперируют промышленность и обыденная жизнь, теоретически не изучены. Мы пытались здесь наметить некоторые вехи этой будущей науки». Ты кланяешься, собираешь свои листки, на этот раз аплодирует весь зал.

Председательствующий, имени его не хочется вспоминать, он отвернулся от тебя в грудную минуту, объявляет перерыв, и ты торопишься выскочить в коридор, отмахиваясь от друзей. Да, он здесь, Игорь Васильевич, он попал на доклад случайно, но совсем не случайно остался. Он ласково кладет руку тебе на плечо, заглядывает с улыбкой в лицо.

— Я не специалист в этой области, — говорит он. — Но некоторые мысли мне понравились. Мне кажется, они будут иметь важное значение для науки, если по-серьезному обосновать их. Я верю, что вам это удастся.

После этого он уходит. Ты не слушаешь поздравлений, не отвечаешь на возражения, ты смотришь вслед ему, одному ему! Вот он сидит в третьем ряду, смяв бороду рукой, полузакрыв глаза, — двадцать лет прошло с той поры, двадцать лет! Помнит ли он тебя, поклонится ли, встретив на улице? Зачем тебя помнить, новых путей ты не открыл, переворота в науке не произвел! Игорь Васильевич, это вы, Игорь Васильевич, боже мой, это же вы, веривший когда-то в меня!

Лариса толкнула Терентьева.

— Первая часть окончена! — сказала она. — Я не подозревала, что на вас так действует музыка, азы сидели как каменный. Изумительно, правда? Хлопайте, почему же вы не хлопаете?

6

Выходя в фойе, Терентьев с раскаянием думал о том, что не запомнил ни одной мелодии, ни единого слова оратории. Лариса засыпала его вопросами, делилась переживаниями, пыталась что-то напевать из услышанного — Терентьев отделывался неопределенными ответами.

— У вас, оказывается, плохой слух! — удивилась Лариса. — Неужели даже эту арию не повторите? Вот слушайте — правильно ли я запомнила?

— Конечно, правильно! Абсолютно правильно. И получается лучше, чем у Баха.

— Вы все шутите, — сказала Лариса с досадой.

Чтоб избежать новых расспросов о концерте, Терентьев стал в очередь за водой в буфете. Они пили ситро и ели пирожные, потом прогуливались в фойе, Лариса взяла Терентьева под руку, прижималась к нему плечом. Она раскраснелась и похорошела, новое сиреневое платье с кружевами очень ей шло. Терентьев вначале опасался, что их появление вызовет насмешливый интерес, он предчувствовал иронические взгляды мужчин, суровые оглядывания женщин. Но никто не обращал на них внимания. В зеркалах, попадавшихся по дороге, отражалась нарядная, оживленная девушка и высокий улыбающийся мужчина — пара как пара, ничего необычного!

— Пойдемте в зал! — сказала Лариса после первого звонка. — Не хочется опаздывать.

Терентьев, усаживаясь, твердил себе: «Надо, надо слушать — попал на прославленную вещь, а сам бог знает о чем размышляю! Жизнь твоя к евангелическим страстям отношения не имеет!»

Теперь он честно сосредоточился на музыке, вслушивался в голоса и инструменты, всматривался в дирижера. У дирижера от напряжения лился пот со лба, пот скапливался на кончике острого носа и падал на манишку — капли вспыхивали бриллиантовыми огнями в свете юпитеров. Куда бы Терентьев ни отводил взгляд, он видел эти проклятые капли, они отвлекали от музыки. «Хоть бы утерся он, черт его побери! — думал Терентьев. — Нельзя же так, нельзя — такие огромные капли!» Терентьеву казалось, что он нашел истинную причину своей невнимательности, она была в нем, в этом молодом и красивом дирижере. Дирижер самозабвенно командовал оркестром и хором, но не следил за собой, это было отвратительно. «Это отвратительно! — шептал Терентьев, закрывая глаза и покачивая головой. Музыка вздыбливала и взвинчивала его, она гремела и совершалась в нем самом, как чья-то нелепая, путаная жизнь, может быть, его собственная путаная жизнь. — Ах, как нехорошо!» Оркестр отдалился, Ларисы больше не было, никого не было. Терентьеву вдруг захотелось плакать, захотелось опять мучительно вспоминать прошлое, с кем-то спорить, кого-то обвинять — одно внезапно возникавшее желание теснило и сменяло другое...

Внезапно он очнулся. Одинокий голос, печально-иронический голос спрашивал: «Кого же вы хотите оставить в живых — бродягу Иисуса или разбойника Варраву?» — голос высокомерного правителя, умывающего руки. «Варраву!» — взвились дисканты и сопрано, «Варраву!» — залились теноры и баритоны, «Варраву!» — рухнули басы. Все на мгновение потонуло в исступленном, безмерном, нечеловеческом вопле: «Варраву!» — и наступила тишина. У Терентьева похолодели корни волос. Он задыхался. Он понял наконец свою ошибку. Судили не бога — человека.

В оратории наступила разрядка после гигантского напряжения, готовился новый взрыв страстей, кто-то рыдал, кто-то смеялся — так, во всяком случае, казалось потрясенному Терентьеву. Лариса что-то прошептала, он только обернулся, он не мог говорить. Да, конечно, как смел он вообразить, что речь идет о боге, о том высшем, непостижимо могущественном, так зло униженном существе, о котором повествует наивный и гениальный Матфей? Было что-то лживое, насквозь лицемерное в евангелическом рассказе, прими его буква в букву, — божество юродствует, наряжается в рубище и отправляется на землю спасать людей от самого себя, карая себя за восстание против себя неисполнимой смертью, ибо как оно, бессмертное, может самоумертвиться? Бессмысленная, оскорбляющая ум нелепица, таковы эти предания, иными Терентьеву они не представлялись — они не могли быть иными! Он смеялся над елейным обликом бога, над размалеванной мелодрамой его страстей, видел лишь лубок и балаган — воистину божественная комедия, ничем, кроме забавной комедии, и быть она не может. Бах не смеялся, нет, он отринул балаган и лубок, ему не до глупых мифов, если и говорил он это слово «божество», то лишь потому, что другого не имелось, — вот она перед тобой, горестная история жалко запутавшегося человека, скорбная человеческая трагедия. Терентьев видел его, взлохмаченного, неистового бродягу, возомнившего себя спасителем человечества. Восторженный и самовлюбленный, оборванный и величественный, до слез, до гнева, до крика добрый, он собирается мечом и розгами поворачивать людей на счастье, великим злом истреблять последние крупинки зла — «я не мир к вам на землю принес, но меч, и кто не со мною, тот против меня!» — так он твердит постоянно, на отдыхе и в дороге. Он просто больной, этот нелепый, обаятельный человек, он сам не знает, что проповедует: то смирение, то твердость, то восстание, то рабью покорность, то грозно вздымает вверх руку, то низко склоняет лицо, дикие проклятия сменяются страстными заверениями: «Истинно, истинно говорю вам!..» Над ним издеваются, за ним бегут, перед ним опускаются на колени — нет в мире актера, который не нашел бы зрителей, противников и поклонников. Пожалей его, он изнемогает под тяжестью нелегкой своей ноши, дай ему дорогу назад! — молят виолончели в оркестре. Не давай ему в руки власти, неистовствует хор, он не потерпит инакомыслящих, он не помирится на сосуществовании с теми, кто не ползает перед ним во прахе, — головы полетят по ветру! Нет, все в порядке, власти ему не дадут, но и поворота назад не будет, он прошагает свой крестный путь до конца, боже, как он тоскует и скорбит, этот маленький растерявшийся путаник, как он мечется и закрывает лицо руками — плачь, плачь над ним, страшно умирать тому, кто рождается в мир лишь раз, а дважды рождаемых не бывает!

— Что с вами? — прошептала Лариса. — Борис Семеныч, что с вами?

— Не обращайте на меня внимания, — шепнул Терентьев. — Вы совсем не смотрите на вашего милого дирижера. Знаете, он мне очень нравится.

Итак, конец. Отгремели басы, отпелись флейты — человек изнемог и умер. Трагедия казни завершена, начинается мистика воскрешения. Нет, до мистики еще не скоро. Огромный хор затих, альты и скрипки заводят новый плач, последний плач о смерти. Молоденькая певица вышла вперед, она сейчас смешает свой голос с голосами струя. У Терентьева снова тяжело заметалось сердце. Он знал, твердо знал, что еще никогда в своей жизни не слыхал такой удивительной мелодии, она была печальна и проникновенна, скорбна и нежна — женщина, простая женщина рыдала над телом друга. Она прощается навсегда, встречи уже не будет, что бы там ни твердили мифы. От этого, только от этого, от невозвратимости потери, так хватает за душу, так терзает сердце ее человечески прекрасный плач.

Певица закончила арию, струнные голоса оркестра еще тянули великолепную мелодию, А затем обрушились аплодисменты, и все смешалось. Зал встал, орал, грохотал. Терентьев взглянул на бородатого человека в третьем ряду — тот тоже восторженно кричал, бил в ладоши. Дирижер пытался остановить несвоевременное вулканическое извержение чувств, он махал палочкой; до конца оратории недалеко, можно бы и подождать с аплодисментами. Потом, покорившись, он раскланивался, протягивал руки к оркестру и хору, приглашая их к торжеству, прижимал, благодаря за всех артистов, ладонь к сердцу.

— Ну как, ну как? — с волнением допрашивала Лариса, когда слушатели повалили к гардеробу и выходу. — Вы не сердитесь, что я вас вытащила на концерт?

— Боже, какая гигантская музыка! — отвечал Терентьев, растерянно улыбаясь. — А эта ария — невообразимо, просто невообразимо, Лариса!

На улице Лариса продолжала говорить о музыке. Она пыталась выразить словами переполнившие ее чувства. Терентьев отмалчивался или отвечал невпопад. Музыка еще звучала, она по-прежнему совершалась в нем, как некое событие его собственной жизни, о ней нельзя было говорить ни обыденными, ни восторженными словами. Лариса скоро поняла, что ему не до ее болтовни. Она остановилась на углу Каляевской.

— Здесь я сяду на троллейбус, Борис Семеныч. А вы, наверно, домой?

— Домой, Ларочка. Поработаю, как обычно. Завтра увидимся.

— Вы всегда все путаете, Борис Семеныч, — сказала она. — Завтра мы не сможем увидеться. Завтра воскресенье.

— Ну и что же? Давайте встретимся и погуляем, раз воскресенье. Если, конечно, вам не скучно, с таким стариком, как я.

Она посмотрела на него с благодарностью, но ответила по-своему:

— Скучно, конечно. Что поделаешь? С мальчишками еще скучнее. Лучше всего часиков в шесть. И на этом самом месте — хорошо?

7

Он пришел ровно в шесть, и Лариса появилась в ту же минуту. Он догадался, что она ждала его, где-нибудь укрываясь, но не показал виду, что знает это. Она была в том же нарядном платье, что вчера на концерте. Терентьев взял ее под руку. Они пошли, не глядя, в первую попавшуюся сторону. Терентьев старался попасть в шаг, но сбивался — Лариса подшучивала над его неудачными попытками. Потом она спросила, куда он ведет ее. Терентьев остановился.

— В самом деле, куда? Может, пойдем на выставку? Мне хочется на люди. Как вы, Ларочка?

— Вот еще — на выставку! Там же скучно! — Она посмотрела на его огорченное лицо и засмеялась. — Ладно, пойдемте на выставку!

Они повернули назад и спустились в метро. На выставке было шумно. Они прокатились на маленьком троллейбусе, сидели в дегустаторской, смакуя один сорт вина за другим, потом, проголодавшись, постояли в очереди за шашлыками. Когда они вышли из шашлычной, южную часть неба полосовали зарницы, издалека доносился гром. Налетел сильный порыв ветра, потом другой — надвигалась буря. Посетители заторопились к выходу, Лариса потянула Терентьева в дубовую рощицу на окраине выставки.

— Деревья не спасут нас от дождя, — предупредил Терентьев.

— Я не боюсь воды, Борис Семеныч. А вы такой большой, от дождя не растаете.

В роще дубы раскачивались и шумели, ветви то взмывали ввысь, то чуть не мели землю. Обычно молчаливый, надменный в своей нарядности, парк встрепенулся и ожил, весь куда-то с криком устремился — деревья в спешке отталкивали друг друга. Терентьев наслаждался и шумом, и качанием, и толкотней дубов, но Ларисе стало жутко среди этих слишком живых деревьев. Она побежала через дорогу и угодила в цветочную клумбу. Милиционер, увидев, как она с размаху влетела в цветы, предупреждающе свистнул. Лариса схватила Терентьева за руку.

— Бежим! — крикнула она. — Нас оштрафуют!

До сих пор милиционер особенно не присматривался к этой парочке, гулявшей в опустевшем парке, но когда они кинулись удирать, он пошел следом. Лариса с тревогой оглядывалась. Она энергично тащила Терентьева, тот, отшучиваясь, упирался. Милиционер ускорил шаги. Молния вспорола тучи — небо обвалилось в грохоте. Лариса в страхе метнулась к ограде в соседний Останкинский парк. Она мигом взлетела на каменное основание, вскарабкалась на решетку. Она с возмущением крикнула заколебавшемуся Терентьеву:

— Да не стойте же вы! Как вам не совестно, я боюсь одна!

Рассерженный милиционер бежал по аллее. Терентьев захохотал и тоже полез на решетку. Милиционер засвистел так пронзительно, что на мгновение перекрыл грохот ветра. Терентьев вдруг почувствовал, что сил его не хватит, чтобы перебросить свои девяносто килограммов через высокие прутья. Он два раза подтягивался на руках и два раза сползал, так и не оседлав утыканный пиками гребень. Лариса уже была на той стороне и с замиранием глядела на борьбу Терентьева с не дававшейся тому высотой.

— Граждане, стойте! — кричал милиционер, приближаясь. — Как не стыдно безобразничать!

Он был уже в пяти шагах, когда Терентьев наконец вскарабкался на решетку. Одна из пик вонзилась ему в карман, он пытался вытряхнуть ее, как сор, — она царапнула ногу. Терентьев снова подтянулся и спрыгнул на землю как раз в ту секунду, когда милиционер протянул руку, чтоб схватить его.

— Пьяные! — огорченно шептал тот, глядя сквозь решетку, как нарушители быстро скрываются меж деревьев. — Культурные люди напились, как извозчики!

Начался дождь. Лариса сразу затряслась в легоньком платье, когда упали первые капли. Терентьев накинул на нее пиджак, она закуталась и повеселела.

— Не понимаю этого безобразия! — сказала она с негодованием. — Останкинский парк не охраняется, потому что вход бесплатный, а за посещение выставки надо платить. Почему же нас хотели задержать, когда мы из платного перелезали в бесплатный? Если наоборот, я бы понимала!

— Скажите об этом милиционеру, Ларочка.

— Обязательно скажу, если он меня поймает.

— Очень жаль, если не поймает, — вы потеряете случай прочитать милиции лекцию по логике.

Дубы в Останкине бушевали еще яростней, чем на выставке. В этом парке их было больше, они вытягивались выше, нависали плотнее. Гроза заставила их встрепенуться и зашевелить ветвями, как лапами. Ларисе представлялось, что тысячи рук яростно и слепо шарят в воздухе. Под рослым дубком, где они с Терентьевым укрылись, дождя не чувствовалось, но Ларису снова охватил страх. Терентьев успокаивал ее шутками, но, когда молнии стали сверкать чуть ли не над головою, Лариса в смятении выскочила из-под листвы на ливень. Терентьев нагнал ее и потянул назад.

— Не хочу! Не хочу! — твердила она, вся дрожа. — Идемте скорей домой, я боюсь!

Ему удалось втащить ее под навес витрины с фотографиями передовиков какого-то завода. Они прислонились к стеклу. Терентьев обнял Ларису за плечи, она вся сжалась, припав к его груди. Дождь низвергался уже не каплями и не струйками, а водяными прутьями, они боронили землю, вонзались в мчавшиеся по аллеям потоки, те шипели и взбрызгивались. Небо пылало со всех сторон, молнии перерезали одна другую. И блеск и грохот неслись не сверху, а отовсюду, все кругом сверкало, лилось и гремело. Ветер утих, словно придавленный грохотом и тоннами рушившейся воды, — в пронзительном свете молний было видно, как все кругом затянуто туманом мельчайших водяных брызг. Потом наступил перелом, гроза ушла к Ново-Владыкину, дождь замедлился, а ветер ожил — снова дико заметались и закричали деревья.

— Как вам не стыдно? — сказала Лариса. — Вы целуете меня! Что это такое?

Она сердито высвободилась из рук Терентьева, провела по мокрым волосам — с них текла вода. Ему показалось, что она собирается опять под дождь, он схватил ее, но так неловко, что локтем ударил по витрине.

Стекло треснуло, куски со званом посыпались на землю. Ошеломленный Терентьев наклонился над осколками, но перепуганная Лариса потянула его в сторону.

— Скорей, скорей! — торопила она. — Вот теперь уж нас обязательно задержат.

Она бежала по воде, не разбирая дороги, и остановилась лишь у выхода из парка. Никто их не преследовал, и парк и улицы казались вымершими. Дождь оборвался внезапно, как и начался, на севере еще сверкали молнии, на юге, в разрывах уходящих туч, светили звезды. Было так тихо и тепло, что и насквозь мокрая одежда не вызывала озноба. Остановившись под липой, возле троллейбусной остановки, Лариса протянула Терентьеву его пиджак.

— Да он мне совсем не нужен! — убеждал Терентьев. — Вы отдадите у вашего дома.

— Меня не надо провожать, — строго сказала Лариса. — Я сейчас сяду в троллейбус, он останавливается недалеко от нашего парадного.

— Нет, я провожу вас, не спорьте, Лариса.

— А я не хочу. Вы ненадежный, Борис Семеныч, от вас всего можно ожидать.

— Ну не одного же плохого..

— Сегодня одни проступки. Перелезли через ограду, не послушавшись милиционера, — раз.

— Вы же меня потянули, Ларочка.

— А хоть бы и я! Вы должны были и меня остановить, как серьезный человек. Не понимаю, почему вы смеетесь! А витрина? Прямой ущерб государству — два. За такие преступления и штрафа мало. И потом, я не разрешала так обращаться со мною...

Терентьев перестал смеяться. Он взял ее за руку, взглянул в глаза.

— Лариса, — сказал он. — Выслушайте меня, не перебивая, в другой раз я не осмелюсь. Я старше вас на двадцать два года, ровно на двадцать два... И я хочу, чтоб вы знали — вы всех дороже мне на земле. Как бы ни повернулась наша жизнь, всегда любая ваша радость будет моей радостью, любое ваше горе — моим горем!..

— Не надо! — попросила она, отнимая руку. — Ну, очень — не надо!

— Вот ваш троллейбус. Это он — тринадцатый номер... Садитесь, я помогу.

Водитель проехал несколько метров за остановку, чтоб парочка, стоявшая под липой, не бежала по лужам. Но Лариса отвернулась от распахнутой двери.

— Я поеду на другом, — сказала она. — Я хочу немного погулять! Такая хорошая погода, Борис Семеныч, правда? Мы не сядем! — крикнула она водителю. — Мы раздумали! — Тот ухмыльнулся и покатил по воде, еще стремившейся ручьями у тротуара. Ларису рассердила его слишком понимающая улыбка. Она сухо сказала Терентьеву: — Может, вам не правятся ночные прогулки? Вы так обрадовались, когда подошел троллейбус.

— Ларочка, — проговорил он грустно. — Будьте же хоть на минутку серьезной. Вы ничего не слышали, что я сказал.

— Не надо! — повторила она. — Давайте молчать. Погуляем еще немного. Долго я не могу, мама умрет от тревоги.

Терентьев уже справился с волнением.

— Я бы: не сказал, что о вас следует очень беспокоиться. Вы совсем не беспомощная.

— Я — да! А мама — беспомощная. За ней надо следить, как за ребенком, она забывает позавтракать и поужинать. У нас в доме хозяйством заведую я. Я достаю билеты в кино и командую, когда идти спать. Мама у меня очень хорошая, только ужасно непрактичная. Она вам понравится, когда вы познакомитесь.

Они свернули на Шереметьевскую. В этих местах останкинские дубы уступали место липам. Блестящие, словно лакированные листья роняли застоявшиеся капли. В воздухе густо запахло медом: липы стояли в цвету. Терентьев старался идти размеренно, на этот раз ему лучше удавалось шагать с Ларисой в лад. В молчании они прошли но мосту через окружную дорогу, по обе стороны потянулись деревянные домишки безлесной Марьиной рощи.

Лариса остановилась и высвободила руку.

— Боже, как здесь чудесно! — сказала она. — И чем-то хорошим пахнет, правда? Почему вы все молчите, Борис Семеныч?

— Вы же хотели, чтоб я молчал.

— Мало что я хотела! Это непереносимо, если вы всегда будете исполнять мои желания.

— Во всяком случае, постараюсь.

— Ну и ничего умного! Подождем здесь троллейбус, мне стало опять холодно. Спасибо, у вас такой теплый и просторный пиджак. Смотрите, я закуталась в него, как в пальто. Это страх какая я маленькая рядом с вами! Мама будет сердиться, что я ушла в одном платье. Не смотрите на меня так!

— Ларочка...

— Молчите, идет троллейбус! Борис Семеныч, мне сегодня хорошо, как еще не было, — честное слово!.. Возьмите скорей ваш пиджак!

Когда троллейбус поравнялся с ними, Лариса быстро поцеловала Терентьева и вскочила внутрь. Терентьев подошел к открытому окну и протянул руку. Лариса схватила ее.

— Помните, Ларочка, — сказал он. — Любая радость, любое горе...

— Не гуляйте больше, — попросила она. — Не хочу, чтоб вы гуляли один.

— Вы сказали, что ваши желания не обязательно исполнять.

— Это — обязательно! Борис Семеныч, ну, очень прошу! У вас завтра будет голова болеть, а предстоят новые опыты. Надо крепко, крепко выспаться.

— Слушаюсь, Ларочка. Иду спать.

8

Терентьев распахнул окно, присел на подоконник. Внизу шумели деревья, даже сюда, на девятый этаж, доносилось их влажное дыхание; дождь давно прошел, но все в природе еще напоминало, что было, было это радостное событие — крепкий, обильный дождь. «Был дождь! — сказал Терентьев вслух и спросил себя: — Ну и что же, что был? Почему бы и не быть дождю? Ничего особенного нет». Он подошел к столу, перелистал лежавшие на столе книги. Все было особенным. Все стало иным.

Он снова перелистал книги. Их требовалось изучить — фундаментальные монографии Френкеля и Боголюбова, статьи Кирквуда ж Эйринга. Он шел иным путем, чем эти ученые, своей, особой дорогой, может, даже и не дорогой, а тропкой, стежечкой, он еще не уверен, далеко ли она уведет его в дебри неведомого, кто знает, не тупичок ли здесь, упирающийся в глухую стену? Тем более надо изучить пути, проложенные другими, думать над каждой формулой, каждой фразой. Он сядет сейчас за книги, будет работать и читать, анализировать, вычислять!

Он отбросил книги, снова подошел к окну, вдохнул живительный воздух. Послушай, сказал он себе, неужели это правда — то, что ты ей наговорил, возможно ли это все в твои-то годы? Он упрекнул себя, что кружит голову бедной девочке. Кто же не знает, что в ее возрасте слова захватывают и очаровывают, а для него они пустяк, все вместе стоят не больше того усилия, чтоб пошевелить гортанью. Нет, запротестовал он, нет, слова эти не пустяк, и я не лгал, каждое из них — правда! Значит, Щетинин прав, и я люблю Ларису? Нет, стой, тут надо разобраться, как же это случилось, что ты влюбился? До сих пор на любовь тебя не хватало! Вспомни, вспомни всех, с кем был близок, разве не говорили они одно и то же, что ты ласков и добр, но и не больше, настоящей любви не было, женщины всегда это чувствовали, всегда обижались на твою холодную ласковость — разве не так?

Он задумался, вспоминал прошлое, рылся в нем, ворошил и сопоставлял давно укатившие годы — анализировал свою жизнь, как проделанный в лаборатории опыт. Нет, что говорить, не так уж много было в этой жизни сердечных привязанностей, совсем не много — связи, которые неизвестно почему начинались и так же, неизвестно почему, обрывались.

Нет, это странно, это просто странно. Товарищи его влюблялись рано — в школе, в институте — женились, плодили детишек, — он прошагал свои первые двадцать три года в одиночестве. Друзья и книги, снова книги и друзья, ни одной подруги, ни одной сколько-нибудь близкой знакомой, девушки, окружавшие его, не стоили того, чтобы ради них отрываться от книг, так ему тогда казалось, — вот правда о его существовании до ареста. Боже мой, он не был бирюком или монахом, он часто досадовал на себя — надо, надо влюбляться, что же это получится, если вынужденное одиночество войдет во вкус? Но сетования не превращались в действия, на девушек не хватало времени, приязнь к знакомым женщинам не вырастала в любовь.

А потом обрушился арест. Чей-то злобный, неумный, в каждой детали, во всем своем существе неправдоподобный донос... Как могли в него поверить, как могли дать ему ход? Шел тридцать седьмой год, ты испил его горечь до дна — ночи в метаниях по камере, день — у следователя в плену... Нет, не хочу, не хочу и вспоминать об этих безрадостных месяцах — черствые, равнодушные люди верили любому навету, любой грязи и клевете на людей, только в одно не могли поверить — что двадцать лет революции воспитали в душах тех, над кем они измывались, честность и преданность родине, верность ее высоким идеям... Говорю тебе, не хочу, забудем об этом годе!

Да, его не забыть, его не забыть, этот страшный год! Старое существование распалось, новым командовали другие, оно было не мое — нелепая, предписанная извне жизнь, ни одной черточкой не отвечавшая ни духовным способностям, ни помыслам моим. Вот так и шли эти долгие годы — сперва тюрьма, переезд из одной тюрьмы в другую — Вологда, Владимир, Соловки, потом серия лагерей, наконец, освобождение — ссылка...

Нет, не одно отчаяние наполняло эти годы, в них была и работа, сознание, что все же какую-то пользу своей стране ты приносишь — валишь сосны, копаешь землю, укладываешь кирпичи, медленно, но стены нового здания растут... Какая-то польза, какая-то польза, — боже, как бесконечно больше ты смог бы принести родине пользы, повернись твое существование по-иному! Одно можно сказать об этом жестоком и несправедливом времени: все это прошло, к старому возврата не будет — смотри вперед, не назад!

К чему ты стремился тогда, о чем мечтал? Во всяком случае, не о женщинах. Они изредка пересекали твой путь — и в лагере и в ссылке — случайные связи, ни разу не перераставшие в большую любовь. Тебя перебрасывали с места на место, где уж тут до глубоких чувств! Да, но у других эти чувства были, им выпала такая же несправедливо трудная судьба, но с ними повсюду шли близкие женщины, они, эти другие, создавали крепкие семьи, испытанные несчастьями и горем семьи. Ничего похожего на это у тебя не произошло, ты, видимо, иной человек, чем они. Сейчас не припомню и тех двух-трех подруг, с кем иногда бывал близок, — ни лиц, ни чувств, только имена. «Как ты холоден!» — попрекали они, когда я старался быть нежным. Я был не холоден, а внутренне равнодушен, иные мечты томили меня, не любовь, — близость с кратковременными подругами ни разу не превратилась в цель жизни, это так, тут уж ничего не попишешь, если так. А они это ощущали, хоть ты и не признавался. Нет, нет, любовь не стала необходимостью моей натуры, лишь наука была истинной целью и внутренним стержнем жизни, я думал лишь о науке. Наука была далека и недостижима, без книг и приборов как ей отдаться, даже поэты — и те в глухом одиночестве теряют способность писать стихи — им нужны критики и слушатели, поклонники и опровергатели!.. Итак, наука. Ты мечтал о будущих своих работах. Вероятно, именно в эти годы предписанного одиночества и появилась тоска по толкотне вольной толпы, по шуму и беспорядку свободно идущих людей...

А затем наступило то, чего страна ожидала с такой страстью и надеждой, — словно очистительный ветер промчался по всем углам... Вот она и пришла, неизбежная, всегда желанная правда, все стало на свои естественные места, как же были прекрасны эти новые потрясения — сперва освобождение, потом реабилитация! Новая жизнь после второго рождения — вот как следовало бы по справедливости назвать совершенный тогда крутой поворот!

Воспоминания взволновали Терентьева. Он хотел думать о Ларисе, а размышлял о всей своей жизни. Видимо, так надо: привлечь к ответу события целой эпохи, чтоб разобраться в личных отношениях двух маленьких людей, сказал себе Терентьев в оправдание. Теперь он вспоминал, как, получив вольный паспорт, сразу кинулся в Москву — к научным центрам, к старым, полузабывшим его знакомым.

Нет, его не забыли, отовсюду протягивали руку помощи, каждый старался перетянуть к себе, устроить получше. Начались вовсе не предвиденные колебания — куда пойти, где удастся быстрее наладить исследования? В это время и появился Щетинин. Они познакомились на квартире у одного из давних приятелей Терентьева. Щетинин немедленно предложил свой институт, ручался, что там будет лучше, чем в любом другом месте. В кармане Терентьева лежало письмо к прославленному ученому, известному всему миру специалисту по электродным процессам. Терентьев не знал, что ответить. Щетинин усилил нажим.

— Да вы только зайдите, Терентъев, — настаивал он. — Поглядите, как мы живем. Больше ничего не требуется — зайдите! Не понравится, уходите к своей знаменитости, за руку никто вас не схватит.

На это Терентьев согласился — прийти не страшно, поглядеть, как трудятся у них в институте, тоже можно. В то утро Щетинин был вызван к директору на совещание, пришлось подождать. Терентьев вышел и присел на скамейку в скверике перед институтом. Здесь он познакомился с Ларисой.

— Лариса! — сказал Терентьев вслух. — Лариса, девочка моя!

Да, Лариса. Она примостилась рядом, красная от волнения, разодетая, славно в театр. Она даже не посмотрела на Терентьева, но он разглядывал ее с любопытством. В ней было что-то смешное и трогательное. Теплое пальто со слишком пышным воротником из седой лисы не вязалось с взволнованным полудетским лицом. Она следила за наружными дверями института и поминутно щурилась, чтоб лучше видеть, кто входит. Было ясно, что девочка нервничает.

Терентьев спросил:

— Вы закончили среднюю школу?

Она вздрогнула от неожиданности, потом презрительно ответила:

— Вы ненаблюдательны. Я окончила химический техникум, три дня назад защитила диплом. Вам по возрасту пора бы уже знать, что из школ выпускают весною, а не в середине зимы.

Он добродушно извинился:

— Я так давно ушел из школы, что успел позабыть, когда там выпуски. Значит, вы в отдел кадров этого института?

Она вдруг рассердилась. Когда она не щурилась, у ней были большие серые, немного выпуклые, как почтя у всех близоруких, глаза.

— Да, в отдел кадров. Не понимаю, с какой стороны это вас касается?

— Только с одной — хочу дать хороший совет. Вы, очевидно, впервые в жизни нанимаетесь на работу? Для разговора с начальником отдела кадров следовало бы одеться поскромнее.

Она встала и пересела на другую скамейку, так возмутило ее замечание. Потом показался опоздавший начальник отдела кадров, и девушка поспешила к нему. Терентьев снова прошел к Щетинину, но его еще не было. Терентьев бродил по этажам, заглядывал в лаборатории. Институт был хорош — новое, великолепное здание, прекрасно оборудованные вспомогательные цехи, настоящий завод науки, каких в его прежние научные годы и в помине не было. Вот уж где простор таланту — разворачивайся, твори! Потом он вспомнил, что в Академии наук его ожидал один из крупнейших в мире специалистов по электродным процессам. Что ж, оборудование там похуже, конечно, зато в каждой лаборатории — знаменитости, острые умы, самое важное для ученого — творческое окружение! Туда, только туда, решил он, никаких больше Щетининых! Он поспешил к выходу.

В вестибюле, перед наружной дверью, он снова повстречал Ларису. Она стояла опустив голову, чуть не плакала, укрывая лицо в роскошный — не по возрасту — воротник. Терентьев догадался, что разговор в отделе кадров прошел неудачно. Он остановился и спросил, что ее расстроило. На этот раз она говорила вежливее. В институте не оказалось вакансии лаборантов; но начальника отдела кадров тронуло огорчение Ларисы, давно уже мечтавшей об их институте, и он пообещал зачислить ее сверх штата, если ею заинтересуется кто-либо из руководителей лаборатории.

— А у меня здесь нет знакомых, кроме вас, — пожаловалась Лариса. — Кто мною заинтересуется?

Если бы она не сказала так доверчиво, что он ее знакомый, вероятно, Терентьев посочувствовал бы ее горю и уехал. В этой неожиданной жалобе было что-то до того наивное, что Терентьева тронуло. Как и начальнику отдела кадров, ему захотелось утешить огорченную девушку.

— Как жаль, что я тут не работаю. Я бы обязательно взял вас к себе.

В это время показался бежавший Щетинин. Он издали кричал:

— Куда же вы, Терентьев? Даже и думать этого не смейте — уходить!

Подойдя, он схватил Терентьева за руку. На Ларису он не взглянул.

— Вхожу к себе, а мне говорят: ушел ваш знакомый и больше не вернется! Как ушел, почему, куда? Дудки, говорю, не вернется — вернем! Идемте, Терентьев, вас ожидают Шутак и Жигалов. Все договорено — создаем специальную группу для ваших работ.

Лариса посмотрела на Терентьева. Он ответил, улыбаясь:

— Что ж, это неплохо — специальная группа... Но вот беда: я не один. Эта молодая девушка — моя старая знакомая. Мы работаем только вместе.

Щетинин снова не взглянул на Ларису.

— Хоть десять старых молодых девушек! Нам нужны вы, а кто нужен вам — ваше дело. Идемте, идемте, пока Шутак не уехал куда-нибудь в Париж или Тимбукту, он засиживаться не любит.

Терентьев дружески протянул руку Ларисе:

— Итак, с сегодняшнего дня я ваш начальник. Давайте договоримся. Я грозен и жесток. Меня устраивает только беспрекословное подчинение. Завтра явитесь ровно в девять. Можете приходить не в таком роскошном наряде.

Терентьев тихо засмеялся, припомнив эту сценку у наружных дверей института. В Ларисе объединяются благодарность и строптивость, я, кажется, никогда не перестану удивляться этому странному сочетанию. И она, похоже, сразу разобралась в моем характере. Только покрасневшие щеки и заблестевшие глаза показывали, как она взволнована и признательна. Ответила она так дерзко, что Щетинин впервые с недоумением повернулся к пей.

— Вас не касается, в каких нарядах я хожу. Приду в девять.

А затем началось то неприятное и возмутительное, припоминал Терентьев, из-за чего чуть не пришлось отказаться самому от работы в этом благоустроенном институте. Шутак, конечно, исчез из своего кабинета, как только Щетинин побежал за Терентьевым. Пока непоседливого академика разыскивали в недрах многочисленных лабораторий, Жигалов беседовал с Терентьевым один на один. У Терентьева бросилась в лицо кровь, когда он вспомнил холодный взгляд Жигалова, его спокойный надменный голос. В директорском кресле сидел следователь, а не руководитель крупного научного учреждения, видный в своей области ученый. Он интересовался не столько научными работами Терентьева, сколько статьями кодекса, по которым его когда-то судили, и местами, где он провел заключение и ссылку. Казалось, директор института собирался даже взять под сомнение решение суда, реабилитировавшего Терентьева от всех лживых обвинений.

— Не понимаю ваших вопросов, — сказал Терентьев, сдерживая гнев. — Я думал, вы собираетесь толковать со мною о тематике научных работ, а вас занимает, какие были на меня доносы...

Жигалов тяжело шевельнулся в кресле и пригладил волосы. Он не то усмехнулся, не то покривился широким землистым лицом.

— Поговорим и о научных работах, товарищ Терентьев, все по очереди. Вы так давно покинули науку, что во многом, несомненно, отстали от современного ее уровня. Придется нагонять.

— Я и сам знаю, что придется нагонять. Для этого я и приехал в Москву.

— Я ведь это к чему, товарищ Терентьев? Доктор Щетинин носится с мыслью создать для вас специальную группу, а вас руководителем... Не рановато ли? Сумеете ли вы справиться? Может, наоборот — поработаете пока в лаборатории какого-нибудь из наших докторов?

— Благодарю, я подумаю, — сказал Терентьев и встал. Надо было немедленно уходить из директорского кабинета — больше сюда ни ногой! В этом великолепном здании смонтировано первоклассное научное оборудование, собраны уникальные приборы и реактивы, но нет самого важного — духа науки!

Но в кабинет вошел высокий костлявый Шутак, за ним показался раскрасневшийся от быстрого шага Щетинин. Академик потряс руку Терентьева, шумно приветствовал его.

— А ведь я вас хорошо знаю, Терентьев! — гремел академик. — Двадцать лет знаю! Удивляетесь, конечно? Правильно, удивляйтесь! Помните свою статью с критикой теории Льюиса? Она меня сразу привлекла — энергично написано, очень энергично! И мысли глубокие. Я тогда же хотел познакомиться с вами лично, а мне говорят: пропал человек! Не вы один пропадали в те годы. Пожалел, покачал головой — что же еще было делать?

Ничего не могло быть приятнее Терентьеву, чем напоминание об этой статье, первой его значительной научной работе. Он показал в ней, что знаменитая теория активностей ионов в растворах, созданная американцем Льюисом и возбудившая тысячи надежд при своем появлении, остановилась в развитии, стала бесплодной. Там же он излагал собственные свои идеи, новое, созданное им, понимание активности ионов — первоначальный вариант разрабатываемой им ныне широкой теории.

— Бориса Семеныча Терентьева двадцать лет насильно отстраняли от науки, — говорил Шутак, обращаясь к Жигалову. — Наука, все мы пострадали от этого не меньше, чем сам Терентьев. Что до его идей, то их разработка дает толчок вперед многим разделам физической химии. С опозданием, но надо, надо поправить ошибки тех лет, — предлагаю создать в нашем институте специальную группу для Терентьева.

Терентьев с удовлетворением отметил, что Жигалов позеленел. Когда Жигалов заговорил, что придется ломать штатное расписание, а это дело непростое, Шутак пообещал разговоры со штатной комиссией взять на себя, — от него там уже не раз плакали, поплачут опять, но сделают, что надо! После этого директор института молча слушал, как академик и Терентьвв расписывают программу новых экспериментальных и теоретических работ.

Терентьев в этот же день передал Щетинину свой разговор с Жигаловым. Щетинин удивился его негодованию.

— Неужели вы думали, что он примет вас с распростертыми объятиями? Лично против вас он, конечно, ничего не имеет. Но внутреннее недоброжелательство к реабилитированным у него в крови. Каждый такой человек — живой упрек всей его прошлой жизни. Это ведь был сверхбдительный и сверхнедоверчивый товарищ... Не обращайте на таких людей внимания, Терентьев, характер свой они не переделают, а прежней роли им не играть! Научным руководителем института является Шутак, а не он!

Терентьев отошел от окна, заходил по комнате. Нет, он ведь твердо решил размышлять о Ларисе, о путаных их отношениях — надо их прояснить, эти отношения. А в голову почему-то лезет Жигалов. К черту всех Жигаловых на свете! Он будет думать только о Ларисе! Он возвратился к окну и сел на подоконник. От земли поднимались теплые волны, пахло сырой известкой от стен. Сегодня он, Терентьев, обнимал и целовал Ларису, тут никуда не денешься, он обнимал ее, даже руки его дрожали, даже голос пропал...

— Странно! — сказал Терентьев в раскрытое окно. — Нет, странно. И если по-честному, непонятно — почему? Так ли уж непонятно? Тебе нужно сейчас сесть за книги и статьи, ты мечтал в своей глуши об этих книгах, о работе над ними, вот они лежат на столе, мечты осуществились — садись, работай, наслаждайся. Нет, я думаю о ней, только о ней, я, как мальчишка, все думаю о ней, у меня горят руки оттого, что обнял ее за плечи, на губах холодок ее кожи — это я-то, меня же всегда упрекали за холодность и равнодушие, где они, эти холодность и равнодушие? Не обманывай себя. Ты не только сейчас думаешь о ней, она всегда у тебя в голове, ты вспоминаешь о ней перед сном, над книгой, на улице, ты тащишь ее с собой повсюду: вдруг вспомнишь забавное ее словечко и смеешься про себя. Да, друг, пожалуй, Щетинин прав, он увидел то, чего ты не подозревал в себе.

Нет, но это же немыслимо, послушай, тебе сорок два года, ты старик в сравнении с нею, если и случилась такая несуразица, так скрой от всех, а пуще от нее, не кружи ей голову, в признаниях твоих ложь и несоответствие!

— Чепуха! — сказал Терентьев опять вслух. — Смешно, ухлестываю за взбалмошной девчонкой!

Постой, постой, кто сказал: старик? Почему старик? Это он-то старик? Да он никогда не был таким молодым! Листки календаря перепутались, жизнь, по существу, начинается, все впереди, а не позади. Да, были несчастные годы, ну и что же, он выбрасывает их как ничего не давшие, они не оставили пятен в душе, морщин на коже — не было их, и все тут! Вот он, не по календарю, а по существу — железные мускулы, хоть мешки грузи, кстати, ему уже приходилось грузить мешки, ничего, среди последних он не был. И эта жажда работы, разве у стариков она бывает, он еще горы перевернет! Вчера, на концерте, его охватила тоска по утраченному времени, так, минутная слабость, больше себе он не разрешит ее! Нет, правда, он прожил треть жизни, не больше, все, говорю тебе, все впереди, до чего же хорошо жить, черт меня возьми! Он плюет на метрики, молодой, он протягивает руку ей, молодой, вот он влюбился, он любит, он просто лишь теперь созрел для настоящее любви!

— Нет, честное слово! — сказал он громко. — Нет, правда, правда!.. — Он проговорил торжественно, как клятву: — Люблю!

9

В это утро они подошли к институту одновременно. Терентьев хотел шутливо удивиться ее раннему приходу, она поспешно заговорила первая:

— Ужас что была за ночь, ни минутки не спала! Этот дождь чуть не довел меня до воспаления легких. Я Непрерывно чихаю. Не подходите ко мне близко, я вас заражу.

Он взял ее руку.

— Все заразы подыхают во мне, Ларочка. Не боюсь ни чоха ни оха.

Она попросила, отнимая руку:

— Борис Семеныч, не шутите, я вправду больная.

Он любовался ею. Если это и была болезнь, то Лариса похорошела от нее. Она побежала в лабораторию, а его позвали к директору на утреннего совещание. Он крикнул Ларисе, чтоб она заканчивала вчерашний опыт. Когда он возвратился с совещания, в комнате сидел Черданцев. Он положил перед Терентьевым таблицу проделанных им вчера измерений и анализов. Терентьев взял ее без особой охоты. Черданцев становился назойливым. Он держал себя так, словно Терентьев официально был утвержден руководителем его темы. Недовольство Терентьева прошло, когда он ознакомился с таблицей. Если раньше аспирант надоедал с пустяками, то сейчас пошли настоящие трудности, не ученические неполадки.

— Просто удивительно, откуда берется столько неясностей, — сказал Черданцев.

Терентьев усмехнулся:

— Все просто только у очень немудреных. Природа сложна.

Черданцев пожал плечами.

— Возможно, я прост не по нормам природы, Борис Семеныч. Вызубренная мною наука превратилась в первобытный хаос. Теперь я штормую в его волнах, как Ной в потопе. Помогите выкарабкаться на твердую почву.

Терентьев никогда не отказывал, если просили о помощи, это был жизненный принцип, выработавшийся и трудные годы: он поступался даже нужным для себя, чтоб не отказывать. Но просто растолковать Черданцеву, в чем тайна его затруднений, Терентьев не мог, для этого понадобилось бы заново проделать все его опыты. Может быть, показать, как работают они с Ларисой? Черданцев много полезного откроет и в методах их эксперимента и в полученных ими результатах.

Терентьев подвел Черданцева к стенду.

— Оставьте на время свои опыты и помогите Ларисе. Повозитесь, вы узнаете кое-что интересное и для себя.

Черданцев торопливо пододвинул стул и, усевшись у стенда, легонько толкнул Ларису локтем.

— Дорогуша, показывайте чудеса вашей кухни.

С девушками Черданцев держался развязно, в институте знали его манеру — он называл ее «свободной». Лариса любила свободу в обращении, но не терпела развязности. Она притворилась, что не слышит. Он дотронулся до ее плеча. Открыто ссориться с ним при Терентьеве она не захотела.

— Чудес у нас нет, — объявила она. — Но вам наши опыты, возможно, покажутся чудесами.

— Не разберусь, думаете?

— Во всяком случае, будете поражены.

— Сероглазенькая, — попросил Черданцев, — не валите на меня все сразу. После вчерашней беседы с Борис Семенычем я плохо спал. Разматывайте ваши открытия постепенно.

Он следил за ее работой, не спрашивая пояснений. Все было ясно, продолжался уже известный ему вчерашний опыт. Однако то, что вчера казалось неправдоподобным, чуть ли не ошибкой измерения, сегодня обретало железную закономерность. Терентьев набрел на важные отклонения от общеизвестных правил. Черданцев видел это все отчетливей. Между этими закономерностями и путаницей, возникшей в работе Черданцева, было что-то общее: и те и другая, похоже, шли от одного корня. Но он не понимал, где именно гнездится и каков он, этот загадочный корень. Логического перехода от непонятных неполадок Черданцева к еще более непонятным закономерностям Терентьева не существовало.

В комнату вошел Щетинин. Он недовольно посмотрел на Черданцева и присел к столу. У Черданцева портилось настроение, когда он встречался со Щетининым. Он наблюдал за работой Ларисы и прислушивался к разговору у стола.

Вражда Черданцева и Щетинина была такой открытой и прочной, что о ней знали все в институте. Она началась после того, как Черданцева отчислили из группы Щетинина. Тематика этой группы ему не подходит, он собирается разрабатывать свою собственную тему, ту самую, что легла в основу его институтского диплома, — так он сказал Жигалову. Вначале никто — ни Щетинин, ни Жигалов — не приняли всерьез заявлений нового аспиранта. Научно-исследовательский институт работает по утвержденному плану. Научное производство превратилось бы в отсебятину, если бы каждому сотруднику предоставили право заниматься тем, что ему особенно по душе. Жигалов строго отчитал Черданцева — придется уж вам приспособить личные влечения к нашим общим задачам. Для любого другого подобная проборка оказалась бы достаточной.

Новый аспирант, однако, оказался настойчивым до неприличия. Он написал записку в научно-технический комитет, заручился содействием Шутака.

Щетинин прямо спросил Черданцева:

— Для чего поднимаете этот хай? Неужели в самом деле считаете, что ваша тема важнее всего, чем мы занимаемся?

Черданцев ответил с невежливой запальчивостью:

— Именно! Ваши темы тоже нужны производству, но моя — нужнее! Я буду это везде доказывать, как бы вы меня ни забивали своими учеными степенями и высокими должностями.

Щетинину всего год назад присвоили степень доктора, он еще не привык к ней. Он разозлился на дерзкое замечание Черданцева. В институте, занимавшемся разнообразными проблемами неорганической и физической химии, тематика Щетинина была самой близкой к производству. Ни у одного из докторов и старших научных сотрудников института не было столько заказов и благодарностей от заводов, как у Щетинина. Об этом знали все, об этом не мог не знать Черданцев. Щетинин вспылил:

— Хорошо, разрабатывайте свою тему где хотите, только не в моей группе!

В кабинете Жигалова Щетинин отказался еще решительней от упорного аспиранта. Шутак с удивлением сказал Щетинину:

— Не понимаю, почему вы так восстаете против темы Черданцева? Она не менее важна, чем и другие наши темы.

Щетинин возразил:

— Правильно — не менее важна! Но и не более. В этом суть: не более! А Черданцев представляет ее чуть ли не единственно важной. И знаете зачем? Чтоб на знакомом материале полегче пробить путь к диссертации.

— Возможно, возможно! — согласился Шутак. — Одно, конечно, дело — завершить, что начато дипломной работой, другое — влезать в новую область. Но тема нужная, вот почему я ее поддерживаю.

Видя, что Щетинина не переубедить, Шутак пообещал руководство исследованиями Черданцева взять на себя. Щетинин насмешливо пожал плечами. Он знал, что бесконечно занятый Шутак много времени не найдет. Скоро это узнал и Черданцев. Вести научное исследование оказалось совсем иным делом, чем писать студенческую дипломную работу. Щетинин объяснял неудачи Черданцева отсутствием у него способностей ученого. Терентьев не считал аспиранта талантливым малым, но видел, что все много сложнее, чем представлялось пристрастному Щетинину.

Щетинин нахмурился, заметив, что Черданцев расположился у стенда по-свойски.

— Между прочим, ты не забыл, что я тебе недавно втолковывал? — напомнил он Терентьеву. — Ну, о том, что людей надо видеть на три метра в глубину...

Терентьев с укором посмотрел на него.

— Нет, не забыл. У тебя ко мне дело?

— Даже два. Вот статья, присланная в журнал, дай рецензию. И напиши обзорную статью в наш юбилейный номер. Жигалов просит.

— Рецензию дам, статью не напишу.

— Придется с ним объясняться.

— Как-нибудь объяснюсь.

Черданцев понял, что фраза о понимании людей нацелена в него. Он склонился над термостатом, притворяясь, что рассматривает пробы, и нечаянно толкнул Ларису. Она выплеснула кислоту из пипетки, которую несла. Лариса рассердилась:

— Вы, однако, не очень ловки! Могли бы, на худой конец, извиниться.

Он схватил ее за локоть:

— Хорошенькая, не сердитесь. — Она освободила локоть. — Я загляделся на вас. Мне бы такую ловкую помощницу.

Она холодно посоветовала:

— Попробуйте сами попрактиковаться и обойдетесь без помощников.

Щетинин сказал Терентьеву, не сводя неприязненного взгляда с покрасневшего Черданцева:

— Юбилей нашего журнала, четверть века существования — пойми же!

— Понимаю. Нет времени на статьи.

— Тогда выйдем на минутку в коридор.

В коридоре Щетинин заговорил, волнуясь:

— Слушай, раз уже ты сам не способен, я обязан, все мы обязаны огородить тебя от нахалов. Если тебя мало трогают его масленые глазки и все эти «хорошенькие», «сероглазенькие», пусть, потом пожалеешь, это, в конце концов, твое личное дело. Но вот уж эти бесцеремонные влезания в чужую работу, ты меня прости, это всех нас касается, это уже дело общественное...

Терентьев твердо сказал:

— Разреши мне делать то, что я считаю правильным!

Щетинин ушел обиженный. Терентьев снова сел за стол, но не мог работать. Все в нем кипело. Ревнивая заботливость Щетинина становилась непереносимой.

— Что вас рассердило? — шепнула Лариса, отойдя от стенда. — Вы поругались со Щетининым?

— Михаил Денисович иногда теряет меру, — ответил Терентьев. — Как-нибудь расскажу.

На столе зазвонил телефон. Жигалов просил Терентьева к себе.

10

Когда Жигалов появился в институте, его приходу обрадовались все сотрудники, от академика до швейцара. Он был известный человек: участвовал в каком-то дальнем перелете, вел наблюдения в заброшенном уголке земли, напечатал воспоминания о своих скитаниях. В институте работало немало исследователей, многие считались крупными деятелями в своей отрасли, но такой экзотической фигуры, как Жигалов, еще не было — его приняли с уважением и охотой. С такой же охотой и уважением ему помогли на первых порах: дали хорошего руководителя, подобрали для диссертации тему поэффектней, при удобном случае набавляли зарплату, повышали в должности... А затем он двинулся сам, мощно раздвигая мешающих, и обнаружилось, что он не тот, за кого его принимали. Произошла ошибка, впрочем довольно естественная: все, не обсуждая, согласились, что раз он человек известный, то, значит, и вообще хороший — такое хорошее качество, как известность, не могло появиться без других, таких же хороших, еще лучших человеческих качеств. А Жигалов был по натуре человек бесцеремонный и недоброжелательный. Он добивался успехов энергией и неразборчивостью в средствах. Насколько раньше им гордились, настолько потом его не терпели. «Жаба», — говорили о нем в институте.

Он и вправду чем-то напоминал жабу — огромный и раздувшийся. Он не сидел, а разваливался в кресле. Лицо его было дрябло, глаза пронзительны, жесты властны. Он не умел спорить, но командовал с охотой. Еще лучше он ссорил людей. Это было его любимое занятие — сталкивать сотрудников. Обычно это делалось под знаком борьбы с приятельством. Знакомясь с новыми людьми, он объявлял, что не потерпит кумовства — отныне интригам и склокам конец! После этого начинались интриги и склоки, а он мирил тех, кого ссорил. Лет десять назад он был страшен. То, что когда-то вызывало страх, теперь было лишь отвратительно. У него хватило ума понять, что особенно не размахнуться: два-три партийных взыскания научили его быть осторожным. В кабинете директора института Жигалов уселся прочно — он был исполнителен и настойчив, хорошо знал свою специальную отрасль, а понимания других проблем достичь можно было простым телефонным звонком к любому руководителю группы. И кабинет он устроил себе по вкусу — огромный и насупленный, весь заставленный диванами, столами для заседаний, стульями. Это был типичный кабинет начальника, вообще начальника, по этому кабинету нельзя было определить, чем занимаются люди, над которыми начальствует Жигалов, институт это или промкооперация, завод или торговое управление. Зато каждому было ясно, что восседать здесь может только важная особа и что именно отсюда должны идти приказы, наставления, указания и проборки.

Жигалов, не вставая, поздоровался с Терентьевым и пригласил присесть на диван. Там уже сидел Щетинин. «Пожаловался», — подумал Терентьев о приятеле.

— Нехорошо, Борис Семеныч, — начал Жигалов. — Что же это выходит — видные наши теоретики отказываются писать. Нет, и слышать не хочу!

Терентьев обернулся к Щетинину. Тот равнодушно глядел в сторону. Терентьев не умел долго отказываться. Ему быстро приедались споры, если они не касались научных проблем. Он соглашался, чтобы не тратить попусту время на пустое «словожевание», как он называл такие разговоры.

— Хорошо, напишу. Только не торопите, ладно?

— Торопить не будем. Как назовете статью?

— Думаю так: «Проблемы активности ионов в растворе в свете новых представлений».

— Ага, проблемы! Проблемы нам подойдут.

— Можно идти, Кирилл Петрович?

— Нет, погодите, еще маленькое дельце.

Терентьев догадался, о чем пойдет речь. Он закинул ногу на ногу и постарался придать себе такой же независимый вид, какой был у Щетинина. «Скотина ты, Михаил! — думал он. — Без совести добиваешься своего, но тут я не поддамся».

Жигалов осторожно потрогал рукой клок светлых волос, прикрывающих обширную лысину. Обычно лысины розоватого или желтоватого цвета, у Жигалова она была синеватой. Он начесывал на нее справа волосы, укладывая их аккуратным, очень тонким — чуть ли не в волос — слоем. Лысина от этого не пропадала, но становилась более живой по цвету. Шутак как-то назвал зачес «лысозащитной полосой», название сохранилось. Остряки уверяли, что Жигалов скрепляет свою «лысозащитную полосу» не помадой, а столярным клеем, который-то и создает русый цвет и прочность прически.

— Что это у вас за кооперация появилась? — продолжал Жигалов. — Какое-то вольное товарищество на паях...

— Не понимаю вас.

— Ну как же но понимаете? Кто разрешил Черданцеву заниматься в вашей группе?

— У него возникли трудности по своей теме, он попросил консультации.

— Консультация — одно, совместная работа — другое. На нее требуется специальное разрешение... Разве вы не знаете, что все незаконченные исследования не подлежат оглашению?

— Тема моя открытая, не секретная.

— Тема открыта, а разрешения на опубликование ее результатов пока нет — значит, не вовсе открытая. Он что, приятель вам? Страх не люблю, когда принципы приносятся в жертву приятельству!

Терентьев во время таких пустых разговоров или впадал в скуку, или выходил из себя. Ссориться с Жигаловым из-за Черданцева не имело смысла. Обвинение в том, что Черданцев его приятель, было смешно. Терентьев с возмущением снова посмотрел на Щетинина, гот не шелохнулся, словно спор с Жигаловым его не касался. Терентьев встал.

— Надо ли так понимать вас, что Черданцеву запрещается даже заходить ко мне?

— Нет, зачем же? Утрировать не будем. И против помощи ему не возражаю — товарищ молодой, знаний, конечно, не хватает. А вводить в курс собственных исследований не стоит. Прошу передать ему это.

— Нет уж, увольте. У вас имеются курьеры, прикажите им вызвать Черданцева.

Он вышел, не оглянувшись.

— Ох, эти теоретики! — сказал недовольно Жигалов. — Гонор не по таланту. Экспериментаторы куда скромнее. Видали — хлопнул дверью, как в гостях у тещи!

— Терентьев — ученый большого таланта, все знают, — возразил Щетинин. — А потом он не только теоретик, но и экспериментатор.

— А в-третьих, он ваш приятель, — закончил Жигалов. — Когда мы вырвем этот сорняк приятельства с чистой нивы науки? Читали вчерашнюю статью академика Семиплотского? Снова ратует за научные школки. А кто не знает, что вся его собственная «школка» — собрание прихлебателей? Упаси нас бог от таких школок. Михаил Денисович, передайте секретарю, чтоб Черданцева сейчас же ко мне.

11

После ухода Терентьева Черданцев сказал Ларисе:

— Ларочка, знаете, о чем пойдет речь у Жигалова? Обо мне! Щетинин скривил зверскую рожу, когда увидел, что я тут!

Лариса ответила, не оборачиваясь:

— Меня зовут Лариса. А у директора института найдутся и более важные, чем ваша особа, темы для разговора с Борисом Семенычем.

Она язвительно добавила:

— Если Михаил Денисович кривится при виде вас, так, вероятно, на это есть причины.

— Другие держат себя спокойно, например вы, Ларочка. Вы игнорируете меня, но чтоб кривиться — этого не замечал.

— Я из осторожности не присматриваюсь к вам.

Он сказал очень серьезно:

— Вам следовало бы всыпать ремнем, чтоб вы сменили вашу дерзкую осторожность на обыкновенную вежливость. Вас спасает лишь то, что у меня имеются веские причины этого не делать.

— Боитесь наказания?

— Нет, раскаяния. Вы слишком хорошенькая, Ларочка. На хорошеньких у меня рука не поднимается. Это мой единственный недостаток.

— Пропустите, — сказала она с досадой. — Расселись у стенда, как в кино. Из-за вашей болтовни я опоздала на полминуты с измерениями. Удивляюсь, почему Борис Семеныч терпит вас. Вы даже не умеете помешать раствор стеклянной палочкой.

Вошел Терентьев. Лариса и Черданцев, замолчав, продолжали работу у стенда. Терентьев, по обыкновению, задумался над своими бумагами, но Лариса догадывалась, что он размышляет не о них. Потом появился курьер и попросил Черданцева к директору.

— Все-таки что случилось? — спросила Лариса, когда Черданцев ушел. — Почему вся эта беготня к Жигалову — то вы, то он?

— Щетинин пожаловался, что мы без разрешения свыше знакомим Черданцева с секретными данными, хоть каждый дурак понимает, что в открытых темах нет секретов... Мне устроили небольшую выволочку.

— Фу, Щетинин, — сказала Лариса. — Маленький, рыжий!.. И фамилия отвратительная. Вас так и тянет к неприятным людям.

— Будьте справедливы, Ларочка. Вы хорошо знаете, что меня тянет не только к таким людям. Ну, показывайте, что получилось, когда я сидел у директора.

Жигалов кивнул головой Черданцеву, но не пригласил сесть. С младшими научными сотрудниками он разговаривал вежливо, но строго. Дерзкого Черданцева давно уже требовалось прибрать к рукам. Черданцев уселся на стул без приглашения. Его непринужденность не понравилась Жигалову.

— Вы, конечно, догадываетесь, зачем я вас пригласил? — спросил он.

— Возможно, по делу, — сдержанно ответил Черданцев.

— Я обычно вызываю только по делу.

— Да, так говорят.

Жигалов откинулся в кресле.

— Думаю, вы отлично понимаете, в чем суть.

— К директору обычно приглашают для выговора. Очевидно, я проштрафился. Надеюсь, вы разъясните мне, в чем именно...

Разговор с Черданцевым всегда был испытанием для Жигалова. Он постарался скрыть раздражение.

— Разъяснение, которого вы просите, будет таково: ваше нынешнее усердие в группе Терентьева нарушает наши правила.

Он помолчал, чтоб дать Черданцеву почувствовать значение своих слов. Черданцев ждал продолжения с той же бесившей Жигалова спокойной дерзостью. С другими сотрудниками директор института ограничился бы тем, что сказал, но с этим надо было по-иному. Аспирант уже строчил жалобы в высшие инстанции, может и сейчас затеять кляузу. Жигалову хотелось по-настоящему проучить этого самонадеянного, уверенного в себе, но, как оказывается, не очень способного человека. Сейчас это сделать было легко. Жигалов опирался на закон, против закона протеста не напишешь!

Жигалов любил читать нотации. Увлекаясь, он превращал выговор в лекцию. Он начал с того, что современная наука несовместима с кустарничеством. Раньше каждый ученый занимался тем, что ему взбредало на ум: получится, пригодится для дела — хорошо, почет тебе и слава, не получится, не пригодится — твое горе никого особенно не опечалит. Эти времена давно прошли. Нынешняя наука индустриализирована, она немыслима без сложной техники, без плана, без строжайшей специализации — короче, в чем-то, какими-то чертами она подобна производству. Пусть сам Черданцев вспомнит, как он пробивал свою тему. Он не пришел, не уселся запросто за стол, не стал сразу заниматься том, что его интересовало. Нет, раньше он добился, чтоб тема его была включена в план, чтоб на нее спустили ассигнования, чтоб под нее подвели материально-техническую базу, то есть, сказать проще, запустили ее в производство. Так это было, иначе и быть не могло. На производстве каждый стоит на своем месте. Если ты токарь, работай у станка, нечего тебе бегать в литейку, кузнечные дела тоже тебя не касаются. У них, в науке, примерно то же самое — каждый обязан трудиться над собственной темой, не просто трудиться, а разрабатывать ее в соответствии с утвержденной программой, в объеме отпущенных ассигнований, согласно продуманному заранее графику. А что получится, если ученые, забрасывая собственные дела, пойдут слоняться по приятелям, вынюхивая, как там у них? Ведь это же анархия, давно осужденное кустарничество, потеря ответственности за порученный тебе участок! Закон прямо говорит, надо подчиняться закону — каждый исполняет свою работу и, пока она не закончена, не имеет права знакомить посторонних с ее предварительными данными и результатами.

— В древности был такой философ — Аристотель, — внушительно заключил Жигалов. — Он учил, что все вещи на земле имеют свое особое, присущее только им место — естественное место. Огонь взлетает вверх, камень падает вниз — все стремится к своим естественным местам. Естественное место ученого — его тема. Занимайтесь своей темой и не интересуйтесь, что делают другие.

— Аристотель, конечно, был умный человек, — возразил Черданцев. — Но не приведет ли эта теория о естественных местах к неестественному местничеству? Что до меня, то я не выпытываю, над чем работает Терентьев, а консультируюсь с ним по своей теме. Между прочим, я делаю это по совету Евгения Алексеевича Шутака.

Жигалов не любил Шутака и побаивался его. Это был по-настоящему знаменитый человек. Пока он разъезжал по заграницам и выступал на конгрессах, с ним, еще можно было примириться. Но Жигалин с опаской думал о том времени, когда старил угомонится и затоскует по спокойной жизни.

В последние годы Шутак уже не вел самостоятельных исследований и даже свою лабораторию передал одному из докторов, зато вмешивался во все работы, проводившиеся в институте. Жигалов с опаской следил за шумной деятельностью академика. Он открывал в ней обычную возрастную эволюцию — человек, когда-то создавший новые отрасли в прикладной химии, понемногу превратился в наставника молодых ученых, официального представителя науки на приемах и парадах. Очевидно, следующий его шаг будет к должности научного администратора — к тому самому креслу, которое сейчас занимал Жигалов. Пока они уживались мирно — директор и руководитель по научной части, но Жигалов предвидел, что когда-нибудь этому мирному существованию придет конец. Он надеялся, впрочем, что к тому времени переберется в более высокое кресло — в министерство.

— Отлично, — сказал Жигалов. — Раз сам Евгений Алексеевич, спорить не буду. Но тогда мы оформим консультации официально. Напишите рапорт, что не способны самостоятельно справиться с темой, на которой вы так настаивали против желания моего и доктора Щетинина, и мы прикажем Терентьеву помочь вам.

— Я, конечно, такого заявления не напишу, — ответил Черданцев, пожимая плечами. — Если бы я не верил, что способен справиться со своей темой, я бы попросту ушел из института на производство, куда меня уже давно тянут. Во всяком случае, я бы не боролся за включение ее в план.

— А вот это уже дело ваше — уходить или оставаться.

— Кирилл Петрович, — снова заговорил Черданцев после некоторого молчания. — Я понимаю, что должен подчиниться. Но растолкуйте мне, бога ради, почему обязать Терентьева приказом можно, а просто так, по-человечески — нельзя?

— А потому! — строго ответил Жигалов. — Что вы понимаете под этим словом — «по-человечески»? Разнузданную приятельщину?.. Смешки, зубоскальство, чуть ли не ухаживание за лаборантками во время работы?.. Нужно всему этому положить конец, — науке на пользу пойдет.

Черданцев пристально вглядывался в Жигалова.

— Это что же — сам Терентьев пожаловался, что я вольно держу себя?

— На такие вопросы я не отвечаю. Вы, конечно, могли бы и сами догадаться, что жалуются лишь те, кого задевает...

12

Черданцев прошел к себе. В его лаборатории, самой маленькой комнатке большого института, все было на ходу — в деревянном чане, стоявшем на полу, крыльчатки выкручивали раствор, в банках на полках отстаивались осадки, дозаторы подавали каплями кислоту и щелочь в стеклянные цилиндры со смесями, выстроившиеся двумя рядами на лабораторном столе. Сам Черданцев уходил на часы из своей комнаты, но химические процессы в ней не прерывались — их вели автоматы. Далее на ночь он оставлял включенными половину своих аппаратов. Комнату наполняло ворчание крыльчаток, плеск размешиваемых жидкостей, щелканье реле, гудение моторчиков. Обычно Черданцеву нравился сложный шум его всегда работающей комнаты, сейчас шум мешал. Черданцев подошел к щитку и выключил все аппараты. Голоса машин и приборов затихали постепенно, становились тонкими и глухими, комната словно жаловалась, что ее покидает жизнь. Потом все оцепенело в молчаливой недвижимости. Черданцев присел к столу, где стояли цилиндры, отодвинув их к стене, и задумался.

Он старался разобраться в том, что случилось. Из слов Жигалова выходило, что Терентьев не захотел возиться с Черданцевым. Почему не захотел, что его обидело? Неужели шуточки с Ларисой? Или, точно, он боится раскрыть свои «секреты»? Но ведь он мог бы для отказа выбрать и иной способ — не бегая с наветами к директору... Жигалов прямо отрубил: «Те, кого задевает». Кого же это может задевать, кроме Терентьева? Не Щетинина же, в самом деле! Что тому до Ларисы?

— Не понимаю, — вслух твердил Черданцев. Потом он сказал себе: «Черт с ними, прядется выкручиваться самому. Хоть бы Евгений Алексеевич скорей приехал!»

Он вытащил из ящика ворох накопленного материала, но не смог сосредоточиться. Он чувствовал усталость, почти бессилие. Перед ним была стена, ни перепрыгнуть через нее, ни прошибить ее. Он возвращался мыслью к разговору с Жигаловым. Если говорить начистоту, неожиданного в этом разговоре только то, что директор сказал о смешках и ухаживаниях за Ларисой. Лариса очень милая девушка, она ему давно нравится, но он слишком уважает Терентьева, чтоб пускаться в ухаживания за ней в его присутствии. Так что Ларису можно оставить в стороне... А все остальное — закономерно, даже неизбежно. Он ждал чего-нибудь в этом роде, ждал со стесненным сердцем с того самого дня, когда понял, что тема ему не по зубам. Вот его единственный просчет — он не подозревал, что все окажется так трудно... Это была его тема, он носился с ней долгие годы, с увлечением разрабатывал в дипломной работе, собирался углублять здесь, на этой фабрике науки. Ни одной минуты он не сомневался, что все пойдет как но маслу, для чего же тогда и возводить эти внушительные здания со всеми их механизмами и аппаратурой, для чего собирают в них самые умные научные головы страны, как не для глубоких разработок трудных проблем? Все загорятся, все примут участие, навалятся чохом — так ему представлялось когда-то, именно потому он с такой убежденностью боролся за эту свою тему. Но здесь у каждого свое задание, свои «естественные места», то, что мучит его, других не волнует... Щетинин не пустил его в свою группу — это был первый провал... Нет, я и тогда не пожелал сдаваться. Раз все работают поодиночке, «у своих станков», как выразился сегодня Жигалов, попробую и я, чем я хуже других! Я не хуже других, я просто не тот, что другие... На кого теперь жаловаться? На папу с мамой, родивших меня таким? На Шутака, который раз в месяц способен уделить мне часок, в то время как мне нужна ежедневная, ежечасная помощь? Научное производство, как о нем пел Жигалов, — где оно? Собрали тех же кустарей в одном, до предела индустриализированном здании, и оставили каждого корпеть поособь — только всего!

— Ладно, ладно! — сказал Черданцев вслух. — Тебе же объяснили — таков закон! Против закона не попрешь.

Он снова включил аппаратуру, а когда в комнате все загудело на разные голоса, взялся за бумаги. Он механически проделывал привычную работу — сводил анализы в таблицу, строил графики. Их теперь было много, этих графиков, целая папка — добросовестно проделанное исследование, то самое, что называется на ученом языке «экспериментальная база».. На подобном солидном фундаменте оставалось лишь возвести стройное здание объясняющей эксперименты теории, и работа была бы закончена. Этого он не мог сделать. Он помнил в подробностях, как все получается, но не сумел бы растолковать, почему получается так, а не иначе. Зазубренных в институте курсов для такого дела не хватало. Тут надо было пускаться в рискованные гипотезы, создавать свои модели реакции. Это была работа для теоретика, фантаста и мечтателя, какого-нибудь там нового Вант-Гоффа или — в масштабе их института — того же Терентьева. Ему, Черданцеву, по плечу простой интеграл, но даже несложное дифференциальное уравнение его пугает — тут уж не до теоретических разработок!

«Может, и вправду признаться в неспособности? — апатично думал Черданцев. — На эксперименты, мол, хватает, а от высокой теории увольте. Обычное явление среди некоторых ученых. Говорят, Резерфорд даже сложную формулу написать правильно не мог, а проложил же новые пути в науке. Ведь не вообще же в неспособности, лишь к математике...

Нет, нехорошо, — продолжал он размышлять. — Признание усугубляет наказание, как говорят у блатных. Обратят внимание на словечко „не способен“, а к чему да почему — не захотят вникать. Не признаться, а находить самому — только так, только так...»

В этот день ему было не до работы. Он ушел, когда прозвонил звонок. На выходе он столкнулся с Ларисой. Он хотел пройти мимо, она окликнула его. Они пошли вместе через скверик, разбитый у института.

— Я слышала, что вам не разрешили участвовать и нашей работе? Правда?

— Правда, Ларочка. Боятся, что проникну в ваши секреты.

— Это Щетинин. Вы поссорились с ним, вот он и старается подложить вам свинью.

— Дело не в Щетинине. С таким противником я бы справился.

— Если вы имеете в виду Бориса Семеныча...

— Успокойтесь, Ларочка, — сказал Черданцев. — Борис Семеныч сам по себе великолепный человек.

— Может, вы перестанете говорить загадками, Аркадий?

— Не притворяйтесь наивной. Вам двадцать лет, и эти годы девушки иногда посматривают в зеркала и соображают, что к чему.

— Не хотите ли вы сказать, что я виновата?

— А кто же?

Лариса презрительно пожала плечами.

— В институте считают, что вы маловоспитанный, но довольно умный. Мне кажется, ваши достоинства преувеличены.

— Это не такая уж глупость, Ларочка. Корень зла в вас, как и всегда, он в женщине.

— И вы можете это доказать? Я говорю о себе, а не о женщинах вообще.

— Разумеется. Для этого мне потребуется часок времени.

Черданцев показал на скамеечку в сквере.

— Если мы присядем и вы проявите некоторое терпение, уложусь и в полчаса.

Она села так, чтоб между ними оставалось свободное пространство. Он спокойно подвинулся ближе.

— Итак, я буду краток, — заговорил Черданцев. — Борис Семеныч думает, что я хожу к нему из-за вас. Он опасается, что я влюблюсь в вас.

— И вы хотите, чтоб я поверила этому вздору? Борис Семеныч не так глуп. Вот еще что выдумали!

Она говорила горячо, с возмущением. Черданцева обидела ее горячность. Лариса держалась так, словно ее оскорбляла и мысль, что у них могут быть иные отношения, кроме холодно-равнодушных. Она сыграла немалую роль во всей этой скверной истории и могла бы вести себя по-иному. Ему захотелось позлить ее. Он откинулся на скамейке и сказал, усмехаясь:

— Видите ли, Ларочка... Борис Семеныч, конечно, не глуп. Но я не поручусь за себя, что уберегусь от глупостей.

— Это что же — объяснение в любви? — враждебно спросила Лариса. — Вы нарушаете общепринятый устав влюбленных — где дрожь в голосе, нежные слова, нежные взгляды? Вам надо чаще практиковаться, Аркадий, чтоб ваши объяснения выглядели правдоподобно.

Он небрежно передернул плечами, довольный. Сейчас ее по-настоящему задело за живое.

— Правда иногда кажется неправдоподобной. Между прочим, то, что я сказал о глупостях, — правда.

Лариса быстро пошла по дорожке. Он нагнал ее и пытался удержать. Она отшвырнула его руку.

— Не смейте! Выберите другой объект для шутовских объяснений.

Черданцев не ожидал такого отпора. Он уже раскаивался, что начал разговор в этом тоне. Он так разволновался, что и она заметила. Волнение его успокоило ее больше, чем слова. Он сказал:

— Экая вы! Не дослушать, вскочить, чуть не драться.

— Уж какая есть.

— Ладно, больше не буду. С вами нельзя по-хорошему.

— У нас разные представления о хорошем.

— А ведь, если по-честному, — сказал он, понемногу успокаиваясь, — у меня совсем иные заботы, не до нежных объяснений.

На этот раз он говорил очень искренне и грустно. Она быстро взглянула на него. У Черданцева был унылый и утомленный вид. Лариса вспомнила, что Жигалов вызывает сотрудников к себе чаще всего, чтоб «всыпать перцу». Она сама знает, что такое побыть у этого человека три минуты, он с первого слова доводит до слез, а все твердят, что с ней он еще мягок.

— Так что же произошло? — спросила Лариса, снова усаживаясь на скамейку. — Предупреждаю: чтоб без сплетен о Борисе Семеныче!

Черданцев заговорил не сразу. Он вспомнил свои неудачи, с горечью думал о том, как нелегко с ними будет справиться. Прежде всего, почему он выбрал такую трудную тему для своей диссертации? Разве нельзя было что-нибудь попроще и благодарней, легонькую экспериментальную вариацию давно известных теоретических истин? Такие темы в ходу у них в институте, да и не только у них, везде их любят. И вообще — зачем ему диссертация? Ему хочется реальных результатов, а не ученых степеней, только ради этого он и пошел в аспирантуру. Но без диссертации нельзя, скажут, что ты напрасно трубил два года в аспирантуре, раз не заработал степени. Он полез в дебри сложнейших по составу растворов, в теоретические джунгли, иначе это не назовешь. Так все же почему он это сделал? Да потому, черт побери, что только такими запутанными смесями и оперирует промышленность. Борис Семеныч часто издевается, что все их теории относятся к слегка загрязненной водичке. И ведь это верно, до ужаса верно! На заводе же не разберешь — то ли это в воде растворены соли металлов, то ли, наоборот, сама вода растворена в солях. Книжная теория не годится, в практике цеха, таи в книги обычно и не заглядывают: выработаны практические рецепты, дуют по ним. На многих химических заводах технология такая же, как и сто лет назад, машин, конечно, побольше, ручного труда поменьше, а процессы те же, так же по старинке дробят, просеивают, разваривают, осаждают, фильтруют, снова растворяют, снова осаждают... Первобытная кухонька, лишь предельно механизированная, — вот что такое иные наши химические заводы. И, как на всякой примитивной кухоньке, варево не рассчитывают по формулам, а пробуют на вкус — сварилось ли, хватает ли соли и перца. Какую цель он, Черданцев, поставил себе? Исследовать заводские процессы, научно обосновать сложившиеся столетиями рецепты смесей и реактивов, объяснить, что в них правильно и важно, отмести неправильное и несущественное...

— Но ведь это же замечательно! — воскликнула Лариса. — Не вижу, какие здесь поводы для огорчений.

Черданцев невесело улыбнулся. Ну что из того, что он в подробностях разобрал многие заводские процессы, выразил их в графиках, изобразил в кривых? Это те же старинные рецепты, немного лишь подправленные, — теории по-прежнему нет. Он взвалил себе на плечи непосильную ношу. Его темой должен бы заняться целый институт, а не одиночка на задворках — экспериментаторы и теоретики, лаборанты и вычислители, прибористы и аналитики, в общем, десятки квалифицированных специалистов. Тот же Щетинин... Доктор, энергии до дьявола, такой, казалось, с радостью ухватится за любую интересную проблему — нет, бесцеремонно выгнал Черданцева из своей группы, там, видите, нет дела до тем со стороны. А когда Черданцев пошел к Терентьеву, чтоб в его работе кое-что уяснить и для себя, его опять одернули: не лезь в чужие дела, занимайся своей темой.

У Ларисы запылали щеки. Она вспомнила, как раздражали ее его ежедневные приходы, настойчивость, с которой он вникал в ее измерения. Она видела в этом одну назойливость, бесцеремонную попытку вытянуть из Терентьева кое-что из его умственных богатств. Ее возмущало даже лицо Черданцева — всегда манерное, то слащавое, то нахальное, сердили его картинные усики. Она удивлялась теперь самой себе. Черданцев был иной, чем ей представлялось. Она просто ни разу по-настоящему не всматривалась в него. Рядом с ней сидел худощавый, опечаленный неудачей, очень красивый парень, ничего в нем не было ни манерного, ни слащавого, ни нахального. А когда он заговорил о своей работе, у него даже голос переменился. Лариса тоже наволновалась, ее захватил его рассказ.

Она с болью чувствовала, что виновата перед Черданцевым.

— Что вы собираетесь делать? — спросила она.

— А что мне остается? Завтра начну добавлять новые кривые к старым, пусть накапливаются. А сегодня пойду в кино или напьюсь, чтоб было веселее.

— Разве вы пьяница, Аркадий?

— Нет, конечно. Но иногда выпить надо! Впрочем, я шучу. Пойду спать.

Лариса минутку колебалась. Она вспомнила, что сегодня в девять они встречаются с Терентьевым, он будет ждать на бульваре у Неглинной, недалеко от ее дома. Борис Семеныч поймет, он все понимает с полуслова. Завтра она объяснит ему, и он простит, даже похвалит за хороший поступок.

Она положила руку на плечо задумавшемуся Черданцеву.

— Хотите, я пойду с вами в кино? Я вас приглашаю. Я уже давно не была в кино — дня два или три.

13

Утром, вбежав в пальто, она торопливо заговорила:

— Борис Семеныч, я знаю, вы возмущены, но я все объясню, и вы перестанете на меня сердиться.

— Я не возмущался и не сердился. Но огорчен я был, это правда. Я понимаю, что вас задержала важная причина.

— Очень важная, Борис Семеныч. Я уверена, вы меня поймете. — В комнату вошел вызванный Терентьевым приборист — налаживать закапризничавший самописец. Лариса покосилась на него и шепнула: — Поговорим, когда он уйдет.

Приборист торчал перед глазами половину дня, после обеда в институте появились иностранцы, ученые из Лондона, приехавшие в Москву как туристы, но все свое время отводившие не знакомству с городом, а знакомству с коллегами. Они с охотой делились своими работами, во многих разделах они шли впереди, особенно в приборах и экспериментальной технике, зато в теории и в тематике существенно отставали. Беседа с ними заняла часа два. Их интересовало все — книги и графики, посуда и приборы, исчирканные диаграммные ленты и реактивы. Один, попросив разрешения, занял место Ларисы и поработал на потенциометре. Лариса раскраснелась, ее умение похвалили, заменивший ее ученый не сумел так быстро манипулировать с двенадцатью пробами в термостате, как делала она у них на глазах. Жигалов, гордый, что отличились даже технические работники его института, шепнул ей, улучив минутку:

— Руки у вас, товарищ Мартынова, золотые, а дисциплина не на уровне: каждый день опаздываете по-прежнему...

Когда они ушли, уже под вечер, Терентьев с облегчением вздохнул:

— Отделались наконец от парада достижений. Итак, я слушаю, что задержало вас, Ларочка?

Она склонилась над стендом. Он не смотрел в ее сторону и не заметил ее состояния. Но его поразил ее сразу изменившийся голос.

— Дело в том, Борис Семеныч... В общем, я ходила в кино с Аркадием.

Терентьев насмешливо покачал головой. Это походило на ее прежние признания в бесчисленных увлечениях, удивительно было лишь, что на этот раз она выбрала Черданцева, которого не терпела. Терентьев встал.

— Новое сердечное горе, Ларочка? Как же вы спали эту ночь?

— Нет! — воскликнула она. — Вы меня не поняли, Борис Семеныч!.. Мы просто ходили с ним и разговаривали о жизни, весь вечер проговорили — и до кино и после.

Терентьев отошел от стенда к своему столу. Он сказал сдержанно:

— Вам, вероятно, было интересно? Я рад, что вечер прошел хорошо...

Она подбежала к нему и схватила за руку:

— Не надо, Борис Семеныч! Вовсе вы не рады, и вечер прошел плохо, а не хорошо!

— Убейте — ничего не понимаю.

— Возьмите Аркадия к себе, — попросила она. — То есть не в эту комнату, а под свою руку. Ему трудно одному, он не справится, а то, над чем он работает, так важно, так бесконечно важно!

Терентьев хмуро глядел на взволнованную Ларису. Впервые он ощущал недоброжелательность к Черданцеву. Тот вел себя некрасиво — иного слова не подобрать... Если ему понадобилось найти другого руководителя, надо было прямо идти с этим к Терентьеву, а не искать заступников со стороны. И неужели он и вправду думает, что, настроив Ларису в свою пользу, добьется этим большего, чем открытой, честной просьбой? Как могла ему прийти в голову такая нелепая мысль? Или тут действует привычка — выбирать извилистые тропки, а не прямые дороги, хитрить и ловчить, только хитрить и ловчить?

— Он просил вас об этом, Лариса?

— Нет, нет, что вы! Я сказала ему, что собираюсь говорить с вами об этом, а он доказывал, что вы ни за что не согласитесь. Я спорила, что он вас не знает. Я даже сказала, что вы согласитесь с радостью...

Итак, разговор об этом у них все-таки был, и Черданцев знает, что Лариса будет просить за него. Терентьев проговорил сколько мог мягче:

— Вы, конечно, очень влиятельный ходатай... Но боюсь, Черданцев объективней разбирается в обстоятельствах. Вряд ли удастся объединить наши работы.

— Но почему? Почему, Борис Семеныч?

— Много причин, Ларочка. Ну, скажем, то, что мы с вами заняты общими проблемами растворов, а у него сугубо производственная тема. И у него уже есть руководитель, значительно более известный ученый, чем я.

— Руководитель! А когда он бывает в институте?

— Неважно, все же бывает! Если бы даже я захотел отвечать за работу Черданцева, так просто этого не удалось бы добиться. Нужно вынести предварительные результаты его экспериментов на ученый совет, обсудить их, изменить тематический план... И потом — дополнительная большая нагрузка повлияет и на нашу с вами работу. Вы просто не представляете, как все это непросто!

Лариса, прищурившись, долго смотрела на Терентьева, потом сказала очень тихо:

— Одно я представляю: вам не хочется работать с Аркадием. Вы его недолюбливаете. Только не говорите, что это не так!

Такой Ларисы — насупленной, очень серьезной — Терентьев еще не знал. Он понял, что она воображала себе этот разговор совсем по-иному, возможно, ждала, что Терентьев обрадуется ее просьбе, с жаром откликнется на черданцевский призыв о помощи. Надо было довести эту беседу до конца, поставить все точки на свои места. Терентьев сказал:

— Да, не могу сказать, чтобы он был мне очень приятен. Я не Щетинин, который его не переваривает, но и особой любви к нему у меня нет. — Он поспешно добавил, останавливая Ларису: — Вы, однако, могли заметить, что, независимо от личных симпатий и антипатий, я помогал ему, пока Жигалов не запретил. Но одно дело — помогать, другое — руководить...

Лариса спросила, все так же пристально вглядываясь в Терентьева:

— А почему юн вам антипатичен? Терентьев пожал плечами.

— Очень трудно сказать, почему один человек приятен, другой — нет. Тут действуют тысячи неуловимых причин.

Лариса, не торопясь, прибирала стенд: отключала моторчики, разъединяла контакты на электродах, ставила на полки колбы с титрованными растворами. Она не любила кончать работу, ей всегда хотелось задержаться, чтоб еще что-нибудь сделать. Но ее сегодняшняя медлительность шла не от интереса к измерениям, а от задумчивости. Терентьев видел, что Лариса погружена в какую-то мысль. Он вдруг ощутил, что их отношения изменились. Раньше Лариса спешила высказать все, что приходило в голову, какими бы странными ни были мысли, ее саму забавляла необычность того, что придумывалось.

Терентьев пошутил:

— О чем вы так горестно размышляем, Лариса? Мрачный вид вам не идет.

— Нет, так... Сама не знаю, о чем: думаю. Больше не буду, раз мне не идет.

Он сказал после некоторого молчания:

— А сегодняшний вечер мы сможем провести вместе?

Она ответила спокойно:

— Боюсь, что нет, Борис Семенович. Мне надо еще повидать Аркадия.

14

Дни были заняты совещаниями и анализом экспериментов, вечерами Терентьев трудился над статьей. Из навязанного задания статья все больше становилась делом сердца. Терентьев излагал в ней результаты своих теперешних опытов, существо было глубже: он подводил итоги двадцатилетних поисков. Он писал, перечеркивал, снова писал, статья росла — каждая мысль, каждая формула в ней были ступеньками в незнаемое...

Вечером как-то пришел Щетинин. Терентьев протянул ему ворох исписанных листов. Щетинин быстро просмотрел их, вскочил и забегал по комнате. Он всегда бегал, когда его охватывало волнение или являлись важные мысли. Он выражал себя раньше движением, только потом — словом. Сейчас его одолел восторг. Щетинин ликовал и гордился Терентьевым.

— Послушай, да понимаешь ли ты, что сделал? — воскликнул он. — Нет, где там! Ты органически не способен что-либо понимать в себе! Это же открытие, пойми, открытие!

Терентьев смеялся. Его радовал восторг друга. Тот все не мог успокоиться. Он первый увидел в Терентьеве пролагателя новых путей в науке. В институте над его верой не раз посмеивались, теперь все согласятся — да, точно, Щетинин разгадал в этом человеке то, о чем мы и не подозревали. Щетинин шумно торжествовал. Он был счастлив и за Терентьева, и за науку, и за себя.

— Успокойся, — попросил Терентьев. — И, пожалуйста, сбавь скорость. У меня такое впечатление, что ты вездесущ, одновременно в противоположных углах — для человека это многовато, согласись.

— Нет, здорово, здорово! — повторял Щетинин. — Ты говоришь, два десятка лет работал над этим? Не удивительно, что так стройно — за двадцать лет можно все продумать до последней запятой.

Щетинин наконец угомонился и присел. Терентьев откинулся на стуле. Резкий свет настольной лампы падал на последнюю страницу рукописи. Обобщенная формула занимала почти половину страницы — хаотическое на первый взгляд переплетение символов, греческих и латинских букв, а по сути — строжайшая закономерность, единственно возможная закономерность в дикой путанице расталкивавших друг дружку молекул в растворе...

— Вот здесь, — сказал Терентьев, показав на горку книг, лежавшую на столе, — собраны работы создателей повой молекулярной теории растворов: Бернала и Фаулера, Эйкепа и Эйринга, Дебая с Гюккелем, наших Семенченко, Френкеля, Боголюбова и многих, многих других. Я использовал их достижения, но старался идти своим путем.

— До этого я знал только твою старую статью в «Журнале физической химии», — заметил Щетинин. — Там ты, кажется, тоже уже пытался по-новому истолковать теорию активностей Льюиса.

Терентьев показал рукой на портреты Вант-Гоффа и. Аррениуса. Щетинин обернулся к ним. Седой Вант-Гофф вдохновенно поднимал ввысь свое удивительно молодое лицо. Аррениус хмуро клонил казацкие усы, он был, казалось, чем-то расстроен. Только сейчас Щетинин заметил, что между двумя фотографиями оставлен разрыв для третьей. Он вопросительно поглядел на Терентьева. Тот кивнул головой.

— Ты угадал, это для Льюиса. Портрет этого великого американца когда-нибудь будет здесь висеть, ибо загадки его теории впервые натолкнули меня на мысль о структурных образованиях в растворах.

Щетинина полузабытый Льюис не интересовал. Он хотел говорить о самом Терентьеве. Как ни странно, но успех Терентьева мало порадует Жигалова. Директор не любит, когда реабилитированные очень уж лезут вперед. Следует ожидать, что он постарается умерить впечатления от разработок Терентьева, так сказать, приглушить их.

— Мне начхать на симпатии и антипатии Жигалова, — равнодушно отозвался Терентьев. — Когда статью напечатают, никто его не спросит, как следует ее воспринимать.

— Опять ты ничего не понимаешь! — воскликнул Щетинин. — Просто бесит, что такие элементарные вещи надо еще тебе разжевывать. Как и любой другой ученый, ты вправе воспользоваться результатами своего труда, даже более других достоин почета за талант, ибо столько лет тебя несправедливо обижали!..

Терентьеву, как всегда, когда речь шла не о научных проблемах, быстро надоело спорить. Щетинин, успокоившись, развил свою мысль. Опубликование статьи, несомненно, приведет к всеобщему признанию теории Терентьева, имя его станет известно уже не только узкому кругу почитателей, но и широкой массе ученых. Известность имеет свои законы, свои права и обязанности. Нужно без отлагательств защищать докторскую диссертацию, смешно, люди, не сделавшие и пятой доли того, что совершил и что способен совершить Терентьев, давно доктора, а он все еще кандидат. Чего далеко ходить, даже он, Щетинин, доктор, хотя и ни единой минуты не помышляет ставить свои работы рядом с терентьевскими. Короче, нужно энергично все это выправить, еще и потому следует выправлять, что тогда Жигалов обязан будет похлопотать о квартире для Терентьева взамен его комнатушки в семь квадратных метров.

— Не улыбайся! — закричал Щетинин, снова рассердившись. — Квартира не награда, а условие плодотворной работы ученого, ты обязан ее добиваться, не откладывая, пока тебя изберут в академики, хотя и это в свое время произойдет.

Терентьев продолжал улыбаться. Ни степень доктора, ни звание академика, ни просторная квартира, ни даже всеобщее признание не привлекали его. Все это была мелочь в сравнении с тем, что после стольких лет отстранения от науки он занимается ею снова. Объяснить это Щетинину он не мог, тот шел без перерывов по выбранной однажды любимой дороге, он попросту не поймет, что самое дорогое душе — шагать, куда тебе хочется, куда единственно тебя влечет, осуществлять лучшее, что есть в тебе, гордиться внутренней ценностью твоих открытий... Сытый может понять, что умирающий с голоду мечтает о куске хлеба, но никогда не ощутит со всей силою, как нестерпимо это желание, как блаженно его утоление...

Щетинин наставительно закончил:

— Пока действует принцип материальной заинтересованности в работе, он должен действовать для всех. Нечего разыгрывать из себя сладенького христосика. Заметь, я говорю о награде за твой труд не в узкобытовом смысле — зарплата, должность повыше, а широко — о научном почете со всеми его следствиями.

— Научный почет, — задумчиво сказал Терентьев. — Хорошая это штука, сколько о ней мечтается! Почет... Кто же от него откажется? Между прочим, я хотел с тобой посоветоваться но иному поводу. Не взять ли мне руководство темой Черданцева?

Щетинин озадаченно уставился на Терентьева:

— Помилуй бог, какая дикая мысль!

— Почему же дикая, Михаил? Черданцеву одному трудно, вместе мы скорей добились бы результатов. Помощь моя пойдет на пользу.

— Да, конечно, — холодно сказал Щетинин. — Любая помощь идет на пользу тому, кому помогают. Помоги дровосеку пилить дрова — тоже польза. Вопрос в целесообразности такой помощи. Может, лучше дрова пилить дровосеку, а Терентьеву — открывать новые пути в науке. Лучше для всего общества, понимаешь?

Терентьев поморщился.

— Каждую мелочь поднимать на такую недосягаемую принципиальную высоту...

Щетинин снова сорвался с места и забегал по комнате.

— Не мелочь! Не может быть мелочью вопрос о том, что ничто не должно отвлекать Терентьева от его исследований. В успехе их заинтересована мировая наука — как у тебя поворачивается язык называть мелочью? Я понимаю, скажи ты мне: Щетинин, помоги дураку Черданцеву, он один не справится, — тут все законно, я занимаюсь примерно теми же проблемами. Но сам — и думать не смей. А поставишь этот вопрос на ученом совете, я первый выступлю против, заодно публично высеку Черданцева, чтоб понял наконец, где его место!

— Ну хорошо, я спрашиваю тебя: ты мог бы помочь Черданцеву?

— Конечно! Вполне могу, но не хочу, понимаешь, не хочу! И знаешь почему? Он старается усовершенствовать старую заводскую технологию, а ее давно пора ко всем чертям! Мы же разрабатываем новую, несравненно более эффективную — разница! До тех пор пока я уверен, что мои темы нужнее, чем его, я не заброшу их ради помощи ему!

— Мне не по масштабу, тебе не хочется, — хмуро сказал Терентьев.

Щетинин ушел, а Терентьев долго еще ходил по комнате. Он размышлял о своей работе, о Черданцеве, о Щетинине, о Ларисе. Самым важным во всем этом была, конечно, его работа. Многие серьезные загадки раскрыты, найдены новые законы — твоя, бесспорно, твоя заслуга, осуществляются наконец заветные твои мечты... И с Черданцевым ясно, никто в конце концов не виноват, что тот запутался, меньше всего отвечаю за это я. А меня уже начинала мучить совесть, просьба Ларисы камнем лежала на душе — может, и вправду надо торопиться Черданцеву на помощь?

— Прав Михаил, — сказал Терентьев вслух. — Но Ларисе этого не растолковать, нет!..

Он размышлял теперь о событиях последних дней. Лариса обиделась, мало разговаривала, сразу после конца работы уходила. Навстречу ей спешил Черданцев, в окно было видно, как они встречаются в скверике перед институтом. Все это было не так уж важно — принимая ухаживания Черданцева, девочка показывала характер. Брать всерьез это не следовало, как бы ни было неприятно. Но с некоторых пор, вернее, даже со вчерашнего вечера, с ней произошло что-то по-настоящему серьезное, она словно стала другой. И сегодня Лариса ушла домой одна, Черданцев ее не провожал.

— Надо, надо с ней поговорить. Завтра же, обязательно завтра!.. — решил Терентьев.

15

Казалось, это просто — улыбаясь, спросить: «Что с вами, Лариса?», дружески положить ей руку на плечо. Но Лариса пришла расстроенной. Она нагрубила табельщику, сухо поздоровалась с Терентьевым, работала, не спрашивая задания. Терентьев тоже углубился в расчеты. Молчание стояло между ними как стена. У него молчание было заполнено мыслями и формулами. Лариса вспоминала, что произошло позавчера. Впервые она не понимала себя.

Вначале, ранним вечером, все шло хорошо. Они гуляли, она уговаривала Черданцева не бросать исследования, как он уже подумывал. Потом было мороженое, кино, снова прогулка и возвращение к ее дому. Здесь, в парадном, они попрощались, он протянул руку, вдруг — без объяснения, без ее согласия — стал молча целовать, а она также молча отвечала на поцелуи. Она не помнит, сколько это продолжалось, внизу хлопнули дверью, и она убежала к себе. Потом она лежала в постели и спрашивала себя, что же случилось, важное или чепуха, и как она теперь будет глядеть в глаза Борису Семеновичу. Так и не решив ничего, взволнованная и недоумевающая, она заснула, а утром все представилось хуже, чем показалось ночью. Она поступила скверно, Терентьев огорчится, если узнает. Конечно, сама она не признается — и лгать трудно, и сказать немыслимо: «А знаете, у нас с Аркадием легкий флирт — целуемся в парадных». Раньше она спокойно рассказывала, что ей до смерти надоело в девушках, не были бы парни так робки, давно бы жила по-другому. Все это лишь казалось серьезным, пустяки, их так и надо было высказывать, как пустяки, — с лукавым смешком, а теперь тоже пустяк, говорить не о чем, она же испугана и раздосадована. Надо объявить Аркадию: «Хватит, мне надоело с вами встречаться!» Она еще вчера хотела это сделать, но не сделала — убежала домой одна... Сегодня придется встретиться, Аркадий достал билеты в оперу — вот тогда, в антракте, и поговорим...

Оторвавшись от дум, она увидела, что Терентьев смотрит на нее. Она вгляделась: он был серьезен, не просто смотрел, а изучал ее лицо. Она поспешно отвернулась.

— Ларочка, — ласково сказал Терентьев, — раньте вы были откровеннее со мной.

Она ответила принужденно:

— Вам кажется. Я такая же, как была...

Он продолжал настойчиво:

— Не такая. Зачем вы таитесь? Я знаю о ваших встречах с Аркадием. Вы рассказывали прежде о каждом своем увлечении, теперь молчите...

Лариса ничего не ответила. Он покачал головой:

— Я чувствую, что с вами что-то произошло.

Она молчала, в отчаянии сознавая, что ему будет больно не от поступка ее, мелкого и случайного, а именно оттого, что он мелок и случаен и никому не нужен — ни ей, ни Черданцеву, ничего за ним но стоит — ни чувств, ни слов. Терентьев подошел к ней, обнял за плечи, повернул лицом к себе. Она со страхом глядела на него.

— Почему такие тайны, Ларочка? Что у вас с Аркадием?

— С Аркадием? — переспросила она, отстраняясь. — Да, мы с ним встречаемся, правда. Но если начистоту... В общем, кажется, мы любим друг друга.

— Вот как! — сказал Терентьев и отошел к своему столу. Он минуту ворошил давно просмотренные бумаги, глядя поверх них.

Лариса почувствовала облегчение. Страшное слово было сказано, оно оправдает ее поведение, нужно лишь твердо его держаться.

— И давно вы узнали о своей любви к нему? — спросил снова Терентьев.

Она ответила с готовностью:

— Вчера. То есть понимали об этом и раньше, но вчера прямо сказали — и он, и я. Нет, не вчера — позавчера! Я забыла, что вчера мы не встречались.

Терентьев искал в ее глазах знакомые лукавые искорки. Лариса была спокойна, она разговаривала с чужим человеком — «ставила его в известность» о повороте в ее жизни, так это называется. Она даже не смотрела на него, ее не интересовало, как он примет ее сообщение.

— Что ж, — сказал Терентьев холодно. — Раз это серьезно...

— Нет, — крикнула, она, вскакивая со стула. — Борис Семеныч, не верьте мне... Я солгала, не было ни объяснений, ни любви, ничего не было, я все придумала.

Не давая перебить себя, она твердила:

— Честное слово, врала! Поверьте мне, я сейчас не лгу — врала! Одни встречи были, так, пустые прогулки, ведь у него неудачи! И на вас я рассердилась, я просто не ожидала, что вы так можете!.. А теперь и прогулок не будет, больше не хочу с ним встречаться. Вы не верите? Сегодня мы должны пойти на «Садко», а я не пойду. Теперь верите?

— Успокойтесь, Ларочка, — сказал Терентьев, гладя ее руку.

— Я хочу, чтоб вы мне поверили!

— Я верю. Разве вы не знаете, что я всегда вам верю?

— И сегодняшний вечер мы проведем вместе! — Да, конечно, раз вы этого хотите.

— Очень, очень хочу!

Она возвратилась к стенду. У нее дрожали руки от волнения, она спутала пробы и с досадой выплеснула из стаканчиков испорченные растворы.

Терентьев достал законченную статью и показал выводы из проделанных экспериментов. Лариса с удивлением поглядела на него, она не понимала, как он может в такую минуту говорить о формулах и реакциях. Потом удивился он — она вдруг громко рассмеялась. Он прервал свой рассказ, она схватила его за руку:

— Нет, нет, Борис Семеныч, продолжайте! Я очень хочу слушать. Мы снова беседуем, как будто все совсем по-старому!..

Терентьев, следя за четкими движениями: Ларисы у термостата, шаг за шагом, формула за формулой разматывал нить рассуждений. Они так увлеклись, что не слыхали звонка об окончании рабочего дня. Лишь когда остановили компрессоры в подвале, до них докатилась тишина, сковавшая здание. Лариса ужаснулась:

— Боже, как мы засиделись!

— Вас это огорчает?

— Что вы! Никогда еще не было так интересно! Борис Семеныч, проводите меня домой, я надену для прогулки другое платье.

— То роскошное, в котором вы были на концерте?

— Вам оно не нравится?

— Наоборот, я хотел просить, чтобы вы надели именно его.

Лариса жила на Неглинной, у бульвара. Терентьев довел ее до дома и подождал в саду, пока она переодевалась. Она вышла минут через пять.

— Хочу теперь под деревья, в лес или парк, — сказала она, беря Терентьева под руку.

— Поедемте в Сокольники.

— Очень хорошо, Борис Семеныч. Люблю Сокольники!

Они не торопясь шли по Неглинной. У Театрального проезда Терентьев хотел свернуть налево, Лариса повернула направо.

— Вы идете к театру, — сказал через некоторое время Терентьев.

— К театру? — переспросила она и остановилась. — Это хорошо. Мы сообщим Аркадию, что я не пойду на спектакль, а потом поедем в парк.

— Лучше ему не ожидать напрасно, — согласился Терентьев.

Черданцев издали увидел Ларису и, радостно улыбаясь, поспешил навстречу. Потом он заметил Терентьева, и улыбка его погасла. Он с недоумением переводил взгляд с Терентьева на Ларису.

— Мне нужно кое-что оказать вам, Аркадий. — Она повернулась к Терентьеву: — Я на минуточку, вы позволите?

— Пожалуйста, — ответил Терентьев. — Я подожду в садике.

Он отошел подальше и присел на скамейку. Лариса стояла с Черданцевым минут десять. Она возвратилась смущенная. Черданцев медленно удалялся к театру, потом остановился за оградой сада. Терентьев понял, что он поджидает Ларису.

— Борис Семеныч, не сердитесь на меня! — попросила Лариса. — Я сама не знаю, что делаю.

— Не надо укорять себя понапрасну, Лариса, — сказал Терентьев. — Вы решили идти не в Сокольники, а на спектакль? «Садко» — великолепная опера. Думаю, вам будет весело.

— Мне не будет весело. Но я не могла отказаться. А сейчас меня мучит, что я огорчила вас.

Он взял ее руку.

— Я отпускаю вас, но ставлю условие. Если вы не пообещаете, театра вам сегодня не видать. Я предупреждал, что бываю жесток, так что не сопротивляйтесь.

— Я выполню все ваши условия.

— Только одно: вас не должно мучить, что я огорчен. И вам должно быть весело, по-настоящему весело! А теперь идите!

Она стояла опустив голову. Он перевел дыхание.

— Идите, Лариса, идите! Нехорошо заставлять себя ждать!

Она еще секунду раздумывала и, ничего не сказав, повернулась. Он протянул ей руку, она не увидела. Из садика она выходила спокойно, потом побежала.

16

Сегодня был первый вечер, когда ему не хотелось на люди, в толчею и шум. И, как назло, на улицах сегодня было особенно много народу. Терентьев вышел на площадь Дзержинского, его обгоняли и теснили, чуть не затолкали в метро в общем потоке, он еле выкарабкался. На переходе через улицу ему засвистел постовой: он, задумавшись, лез на красный свет, под колеса машин. Он возвратился назад, снова попал в какую-то людскую струю — его занесло в закусочную на углу Черкасского переулка. Тут он вспомнил, что не обедал, и подкрепился сосисками с капустой и кофе. Пока он выстаивал очереди в кассу и раздаточную, на улицах схлынули людские потоки. Посередине тротуаров текли ручейки пешеходов, от них можно было держаться в стороне. А потом и вовсе стало просторно — Терентьев шел мимо окончивших рабочий день зданий ЦК и МК. Он выбрался — мимо остатков Китайгородской стены — к набережной Москвы-реки. Вечер переходил в ночь. На ярко освещенных улицах ночи нельзя было увидеть, над широкой полосой реки она должна была стать заметной. Терентьеву хотелось подышать свежестью, поглядеть в глаза звездам, насладиться плеском воды.

По набережной с рычанием мчались грузовики, от них несло бензином и мазутом, река тоже пахла нефтью. Киловаттные лампы оттесняли темноту, и здесь звезды светили тускло, их было мало. Терентьев повернул налево и вышел на набережную Яузы. Он нашел наконец то, чего искал. Его со всех сторон окружила ночь.

Он и раньше любил этот уголок Москвы. Грязная Яуза причудливо извивалась меж гранитных стен. Днем ее мутная вода отталкивала, ночью были видны только великолепные набережные, живописно горбатые мосты, высокие, в зелени берега над набережными и мостовыми. Здесь всегда было безлюдно и прохладно, изредка проносились машины, с нависающих берегов доносился приглушенный грохот работающих, как цех, городских магистралей. Терентьев всегда удивлялся, почему на Яузе не бродят парочки, это место было словно создано для влюбленных, для молчаливых прогулок, ласковых слов, горячих ссор, сменяющихся горячими примирениями, вообще для всяческого «выяснения отношений». Он неторопливо двигался вдоль гранитного парапета и, заложив руки за спину, вглядывался в небо. Над Яузой звезд было больше, чем над Москвой-рекой. Он любовался звездами и набережными, заставлял себя думать о разных пустяках, чтоб не прорвались иные, горькие мысли.

А потом справа поднялись башенки и ограда Андронникова монастыря, самой древней каменной постройки Москвы — за оградой вздымался тремя ярусами собор. И башенки, и ограда, и собор сияли в темном воздухе. Неправдоподобно белые, они были до того прекрасны, что Терентьев остановился, пораженный. Одна башенка походила на воина в шлеме, вторая казалась девушкой в высокой меховой шапке — в облике этой башенки было что-то удивительно чистое и строгое; третья, терявшаяся среди лип сквера, тоже напоминала воина. Ограда ничего не напоминала, она была очень проста, голая стена, несколько ясных линий, ничем не расчлененная плоскость — необыкновенная в своей красоте стена. Но всего прекрасней и необыкновенней было центральное здание — белый восьмигранник, восемь четких окон, зеленые скаты крыш. Этот странный собор не давил громадою глыб, угрюмо свидетельствуя о мощи воздвигшего его государства, он не вытягивался отрешенно вверх, каждой линией, устремленной в небо, утверждая бренность земного существования, он не веселил глаз лукавыми завитушками, обычными для эпохи, когда игривые господа и обязательные свои молитвы старались превратить в развлечение. Он был просто человечен, этот собор, просто человечен, ничего больше — он был прекрасен, как человек. «Здесь жил Рублев, — размышлял Терентьев, любуясь монастырем. — Здесь он писал картины. Да, здесь можно было работать, как он — в боге увидеть человека!»

Терентьев поднялся по откосу, прошел стену от башни до башни, обернулся к Яузе. Река сверкала внизу черным блеском, за ней простирался залитый огнями город — улицы и бульвары отчеркивались линиями фонарей. Среди этого гигантского фейерверка неожиданной чернотой вставала кремлевская возвышенность — далеко светили красные звезды башен, сияло в прожекторах золото куполов, все остальное было скрыто. Терентьев пошел вдоль второй стены, он обходил монастырскую ограду.

У главного входа, в монастырь он присел на скамейку. Две башенки — веселые хлопцы, впервые натянувшие на бедовые головушки шлемы, — преувеличенно серьезно сторожили узорные ворота с надписью: «Музей Андрея Рублева». Над скамейкой важно шумели отцветшие липы, мелкие лепестки еще сыпались на землю, но медвяный запах уже иссяк. Терентьев вздохнул и откинулся на спинку. В сквере было темно и пусто, все как ему хотелось.

Он думал о том, что ночь темна и тепла, настоящая летняя ночь, а скоро ночи похолодают, и на небе прибавится звезд, постоянных и падающих, — после лета наступит осень, это уж обязательно. Осенью он вчерне закончит свою работу, начнутся доделки и переделки, теория пойдет корнями в глубину, ветвями ввысь. Игорь Васильевич! — вспоминал он старика с ассирийскою бородою, виденного на концерте. — Я запоздал немного, Игорь Васильевич, но выполню, что вы мне предрекали, непременно выполню!.. Вот будет доволен Михаил, — думал он о Щетинине. — Он читал первые выводы, правда, из самых важных, а что произойдет, когда он познакомится со всем объемом разработок?.. Надо отдохнуть, — думал он. — Я двадцать лет но бывал на курорте, неплохо подлечиться, болезни у меня пока нет никакой, но это неважно, болен или не болен, а лечись, так ныне полагается по правилам медицины... Нет, это великолепно, — восхищался он, — какая простота, какое изящество, какое скромное величие в этом соборе, а ведь кто-то лепил его руками, кто-то воображал его таким, может даже лучшим, еще до того, как выложили в камне. Хорошо жить на земле рядом с вдохновенными мастерами: вот ровно шестьсот пятьдесят лет назад поставили это каменное чудо, а я сижу, и мне радостно, что были такие люди, отдававшие все свои помыслы и дни на то, чтобы радовать других людей, чтобы и я через шесть веков мог порадоваться, и еще через десять веков мои потомки и потомки моих современников радовались и умилялись, как я...

— Нет, хорошо! — шептал он вслух, растроганный и благодарный. — Просто непередаваемо легко...

Он тихонько запел, напевал вполголоса любимую песенку, популярную песенку, веселую и неприхотливую. В аллее показался пьяный, он брел от дерева к дереву, с осторожностью обходил скамейки. Он остановился неподалеку от Терентьева, потом направился к нему.

— Милок, чего ты? — забормотал пьяный. — Все на свете — вода, а вода течет, точно говорю. Не убивайся.

— Да что вы? — удивился Терентьев. — Вам показалось. Я пою.

— Ага, поешь, — лепетал пьяный, удаляясь. — Точно, показалось. Думаю, с чего бы он? Не обижайся, милок!

Он долго еще что-то шептал и покачивался меж лип, пока не выбрался на улицу. Терентьев смотрел ему вслед, потом взглянул на часы. Было одиннадцать. Терентьев вскочил и сбежал на набережную Яузы. Опера кончилась. Лариса сейчас где-то шла по улице с Черданцевым.

У парапета Терентьев прислонился к граниту. Набережная по-прежнему была пуста, по мосту пронеслась, гремя на рельсах и разбрызгивая свет из окон, электричка с Курского вокзала. Как я держался? — с ожесточением спросил Терентьев. — Что говорил? Она стояла перед ним опустив голову, она ожидала, что он возьмет ее за руку и уведет. Разве она не сказала; «Я не знаю сама, что делаю!»? Она растерялась, ей нужно было помочь, он нее оттолкнул ее: «Идите, вас ждут, вы нужны другому!» А разве мне она не нужна? Тебе казалось, что ты поступаешь очень благородно, да? Ах, не так надо было, не так, не так!

— Успокойся! — прикрикнул на себя Терентьев. — Возьми себя в руки! Слушайся того пьяного — хватит убиваться. Сорок два года — это сорок два года! Ты не пара молоденьким девушкам! Все правильно, говорю тебе, все правильно!

Он не спеша возвращался по уже пройденному пути. Сердце вошло в ритм шага, оно уже не металось неистово и тяжко, дыхание стало обычным. Нет, точно, поведение его сумасбродно, черт знает до чего можно докатиться, если не одернуть себя вовремя! Вот и в тебе, дружок, проснулся ветхий Адам — собственник, этакий ревнивый питекантроп с каменной дубиной, вона как зарычал!.. «Моя! Моя! Голову разнесу — моя!» Только о себе, только для себя, только чтобы с тобою — иного счастья ты не открыл. А скажи, будь добр, кто это клялся недавно: «Любая ваша радость будет моей радостью, любое ваше горе — моим горем!»? Чем же она была, твоя торжественная клятва, — сладенькой фразой или особым твоим пониманием жизни? Лариса сейчас смеется и шутит, она забыла о тебе — порадуйся за нее, ей хорошо! И за себя порадуйся, самый дорогой тебе человек счастлив, это также и твое счастье, ничего ты так горячо не хотел, как того, чтобы она была счастлива, — вот оно, счастье дорогого тебе человека, радуйся! Не надо останавливаться на полпути, иди до конца, как бы ни было тяжело, иди до конца!

— Да, — сказал себе Терентьев, — я не остановлюсь на полпути, и то, что я обещал, было не фразой, а моим ощущенном жизни, я не отрекусь ни от одного слова. И сейчас я счастлив оттого, что Лариса счастлива, мне очень горько, что не во мне ее счастье, и мне хорошо, я не лгу себе, мне хорошо, потому что ей хорошо, пусть ей всегда, всегда будет хорошо!

Терентьев дышал свободно, ночь была тепла и суха. Откуда-то с невидимых улиц понеслись из громкоговорителей позывные кремлевских курантов — шла полночь.

У поворота Терентьев оглянулся на оставленный позади высокий холм, поднимавшийся над Яузой. На холме сиял в темной ночи древний собор — величественно-простой каменный человек.

17

В институт после долгого отсутствия приехал Шутак. Терентьев готовился к поездке в Ленинград на совещание по растворам и растворителям, когда прибежал курьер с просьбой явиться к академику. В коридоре к Терентьеву присоединился Щетинин.

— Землетрясение! — радостно сказал Щетинив. — Когда Евгений Алексеевич прибывает, во всех лабораториях подземные толчки и гул. Он тебя тоже вызвал?

— Да. Курьер передал — немедленно. Очевидно, серьезный разговор.

— Наоборот, ничего серьезного. Если бы что важное, он прибежал бы сам. Хочется ему посмотреть на наши рожи, пожать руки — этим и ограничится вызов. Ты сегодня в Ленинград?

— В Ленинград.

— Оттуда назад?

— Нет, в Сухуми. Я взял отпуск, в месткоме дают путевку в санаторий. Золотая осень на море — представляешь!

— Очень даже представляю! Могу только позавидовать. Вот уже пятый год, как мне запрещено южное солнце!

У Шутака было полно народу. Половину сотрудников он вызвал, остальные прибежали без вызова. Так всегда бывало в дни его приезда. Если даже он оседал в институте на месяц или два, порядки не менялись. К нему входили без предварительных просьб о приеме, без доклада, без стука, а порою без особого дела — просто посидеть на диване, посмотреть на хозяина, обменяться мыслями с другими посетителями. Шутак не терпел официальных заседаний и речей, у него можно было разбиваться на группки, спорить и даже кричать: он любил оживление. Сам он, высокий, живой не по годам, почти никогда не сидел, а ходил по кабинету, схватив то одного, то другого под руку, оставляя посреди разговора первого собеседника, чтобы поймать второго. Совершая обход лабораторий и секторов в институте, он нигде не засиживался и не застаивался, всех тормошил и поднимал на ноги, щупал руками приборы, открывал, прислонившись к измерительным щитам, горячие, внезапно обрываемые дискуссии, стоя просматривал отчеты и докладные, стоя подписывал бумаги. Не такой уже редкостью было увидеть, как он, собрав в коридоре кучку научных сотрудников, читает им тут же лекцию о каком-нибудь заинтересовавшем его явлении в науке или, как он любил говорить, «в дрезину» разносит непонравившуюся работу, пользуясь стеной вместо доски и бумаги. За ним не поспевали убирать, завхоз плакался, что он портит стены хуже мальчишки, и требовал дополнительных ассигнований на мел и краску, если Шутак задерживался в институте больше недели. Было в этом шумном, энергичном человеке что-то юношески-озорное, что-то от рабфаковца двадцатых годов, ворвавшегося в науку в косоворотке и кожанке, с пачкой книг под мышкой, Лениным в сердце и палкой в руке — крушить направо и налево окаменелости. Он и в книгах и исследованиях своих держался таким же бунтарем, ему не просто надо было что-то новое открыть, а обязательно кого-то опровергнуть, что-то обветшалое столкнуть с пьедестала. Научные противники Шутака любили выискивать в его статьях промахи, особенно по библиографии и синтаксису, — у академика не хватало ни времени, ни терпения на подбор цитат, а с запятыми он не считался. Друзья и сотрудники удивлялись вулканическому клокотанию его мысли — он умел в тривиальных фактах вдруг найти что-то совсем неожиданное, мгновенно создавал новые идеи и гипотезы и щедро раздаривал их всем, кто обращался за содействием, — вот и это еще проверьте, может, окажется правильным. Каждый его приезд встряхивал институт, его обход — вернее, пробег — по лабораториям был подобен инъекции свежей крови, взбадривающей старую, застоявшуюся кровь.

Среди других работников, собравшихся у Шутака, находился и Жигалов. Директор сидел на боковине дивана, стоять было трудно, а рассесться — Шутак без стеснения встряхнет и своего начальника... Когда появлялся Шутак, директора сразу оттесняли куда-то в сторону, даже не на второе, а на боковое место. Жигалов приходил к Шутаку, чтобы напоминать, что существует. То один, то другой обращались к нему с вопросами и просьбами. Это было все же лучше, чем мрачно восседать во вдруг опустевшем кабинете.

Шутак стоял у окна, окруженный сотрудниками. Среди других голосов, подавляя их, временами возносился его мощный бас. Увидев Терентьева и Щетинина, он махнул рукой, чтоб подходили.

— Не знаю, не знаю, Евгений Алексеевич, — говорил один из ученых. — Стройность теории Гольдсмайера удивительна — эксперименты, изящный математический аппарат, строжайшие доказательства... Ажурная ясность! А практические выводы из теорий раскрываются не сразу. Я не поручусь, что лет через пятьдесят теория Гольдсмайера не окажется вдруг в фокусе науки.

— А мне наплевать на исследования, толк от которых будет, возможно, через пятьдесят лет, а возможно, и тогда не будет — вы ведь не поручитесь, что тогда она обязательно пригодится? — гремел академик. — Тысячи проблем ждут, тысячи загадок на каждом шагу, промышленность надо перестраивать в корне, а вы — ажур, стройность... Вы Маяковского читали, дорогой?

— Странный вопрос, Евгений Алексеевич, читал, конечно... В школе учил.

— В школе учили? Значит, не читали. А у него, между прочим, имеются такие строчки о поэтах, которые ажуры поразвели:

Пока выкипячивают, рифмами пиликая,

Из любвей и соловьев какое-то варево,

Улица корчится безъязыкая —

Ей нечем кричать и разговаривать.

В общем смехе прорвался тенорок другого собеседника:

— Евгений Алексеевич, разрешите и мне словечко. Вы только что упомянули среди бесплодных и теорию многомерных комплексов. А разве не вы приложили руку к ее разработке? Насколько я помню, вы опубликовали четыре исследования в этой области.

— Ну и что же вы доказали? — обрушился на него Шутак. — Что и я глупости порол? Правильно, порол. По молодости, по незнанию, из жадности к новому. Понадеялся, что выйдет стоящее, а вышел пшик. Новых пшиков не хочу и вас предостерегаю. Больше скажу: я дюжины две старых своих «открытий» сейчас бы с удовольствием закрыл как никчемные. С годами, дорогой, умнеешь!

Щетинин, вспыхнув, с негодованием обратился к Терентьеву:

— Опять наш старик поскакал на любимом коньке! Как не надоест только! Что до Голъдсмайера, то шут с ним и, по-моему, там много от игры в диковинные формулы. Но вот зачем Шутак нападает вообще на теоретическую науку? Сейчас я выдам ему кое-что от себя!

Терентьев любовался стройным и в свои шестьдесят лет академиком. Возмущение Щетинина не затронуло Терентьева. Шутак искренне увлекался каждой новой значительной мыслью, с охотой поддерживал в институте, занимавшемся больше прикладными проблемами, серьезные теоретические исследования, вступал из-за этого в спор с Жигаловым и министрами. Вместе с тем он не уставал подчеркивать свою приверженность к утилитаризму, признавая лишь одного верховного судью — нужды производства. Вероятно, это была своеобразная дань эпохе, в которую сам он сложился как ученый, — в те начальные годы создания своей промышленности с рвением поддерживали лишь то, что приносило немедленную пользу. Терентьев остановил Щетинина:

— Но надо, Михаил! Пусть говорит. Ты знаешь, что если он и покусывает иногда теорию за излишний уклон в абстракции, так не оттого, что вообще ее не уважает.

— Это, пожалуй, верно, — согласился Щетинин. — Как он загорелся, когда услышал, что ты жив и ищешь работы! Он прямо мне сказал: «Заполучим Терентьева, начнутся настоящие теоретические исследования в институте!»

Шутак растолкал обступивших его людей и взял под руку Терентьева.

— Здравствуйте, Борис Семеныч, здравствуйте, милый! Век вас не видел — три месяца! Чем порадуете? Какими достижениями? Как ваши чертовы активности — просветляются?

За Терентьева поспешил ответить Щетинин:

— Скоро будете читать итоговую статью Бориса Семеныча для нашего журнала. Выведены новые формулы для высококонцентрированных растворов, эксперименты подтверждают их.

— Несите статью, обязательно прочту. Можете сегодня дать? У меня вроде свободный вечерок прорезается.

Терентьев покачал головой:

— Пока не статья, а черновик — надо уточнить вычисления, проверить эксперименты...

— Вот вы какой: до блеска хотите отшлифовать! Не возитесь, нужна ваша работа до зарезу — торопиться надо. Между прочим, многого жду от диссертации Черданцева. Промышленность требует таких работ, как манны небесной. Он просит содействия, нужно ему помочь — без официальщины, по-братски.

Шутака перехватили новые посетители, Щетинин значительно посмотрел на Терентьева. Тот раздраженно мотнул головой, отстраняясь от слишком понимающего взгляда.

— Теперь ты сам видишь, что все у него на «про», — сказал Щетинин. — Еще раз говорю — проныра и пролаза пробойной силы. Раньше тему свою протащил против всех, теперь Шутака уговаривает — тебя оседлать... Как хочешь, придется мне потолковать с Евгением Алексеевичем. Старик мне дорог, но наука — дороже.

Терентьев с усилием сдержал горечь. Сотрудничество с Черданцевым теперь немыслимо. Если Шутак будет настаивать и Жигалов с ним согласится, придется уходить из института. Лучше уйти, чем взвалить на себя это нежеланное сотрудничество! Конечно, Шутаку этого не объяснить, он и слушать но захочет, — что не относится к науке, для него не существует — таков старик. С Щетининым тоже нельзя откровенничать, этот мигом кинется бить стекла, разъясни ему, что произошло.

Терентьев сдержанно сказал:

— Ни с кем толковать не надо. Я уезжаю месяца на два — за это время много воды утечет.

Щетинин закончил:

— А главное — Аркаше придется искать другого руководителя. Не может же он сидеть два месяца без работы. Правильно обдумал!

Еще через некоторое время Терентьев сказал:

— Я пойду, Михаил. А если понадоблюсь, позвони.

— Идите, Борис Семеныч, — разрешил услыхавший его Жигалов. Он тяжело шевельнулся на боковине дивана. — У нас пойдут организационные дела, вам не интересно. Кстати, насчет закругления работы — пора, пора кончать ваши исследования.

Терентьев с раздражением обернулся. Жигалов уже несколько раз намекал, что надо закругляться. Он упрямо не хотел понимать, что Терентьев работал не над узкой темой, а развивал новую отрасль науки.

— Вы, очевидно, хотите сказать: пора кончать с кустарным началом и развернуть дело по-настоящему? Иного окончания я не мыслю. Думаю, и Евгений Алексеевич согласится со мной.

Жигалов не захотел спорить при Шутаке. Он промолчал, снисходительно кивнув головой.

Теперь оставалось самое трудное — проститься с Ларисой. На время отпуска Терентьева Ларису перемещали в соседнюю лабораторию. Терентьев не торопился, надо было обдумать, о чем говорить. В последнее время Лариса держалась как чужая, — молча выслушивала задания, молча выполняла. Услышав о его отъезде, она взглянула на него с негодованием, но ничего не спросила. Ее не интересовало, почему он в разгар работы взял отпуск. «Скажу до свидания, и поставим на этом точку! — решил он. — Вероятно, она уже не возвратится ко мне, она улыбнулась, когда услышала, что ее переводят».

В лаборатории самописцы и моторчики были остановлены, растворы спрятаны в шкаф, стенд чисто прибран. Терентьев вошел к себе, как в чужое помещение: так непривычны были и тишина и прибранность — комната вдруг стала очень просторной.

Лариса сидела у окна с книгой в руках. Терентьев сел напротив.

— Вот мы и расстаемся, Лариса. И очень надолго. Она повторила безучастно:

— Да, надолго.

— Надеюсь, вам будет интересно у наших соседей.

— И я надеюсь.

Она не хотела поддерживать разговора. Терентьев понимал, что Лариса осталась в лаборатории не из желания проститься с ним — просто нельзя уходить до конца рабочего дня. Странные их отношения вконец запутались. Надо было встать и пожелать ей здоровья. Он сидел и глядел на нее, чувствуя, что не может уехать, не поговорив. Его сковывало, что Лариса хмурилась, ему казалось, что она встанет и уйдет, скажи он слово не о работе.

Она заговорила первая:

— Вы отлично повеселитесь на юге, Борис Семеныч! Рада за вас.

Он ответил:

— Думаю, и вам будет не скучно. Ваши новые друзья не дадут вам скучать.

Она вспыхнула, но сдержала гнев.

— Вы, конечно, имеете в виду Аркадия?

— Кого же еще, Ларочка?

Она смотрела на него так долго, что на глаза ее навернулись слезы от пристального взгляда.

— Вам бы не следовало так об Аркадии, Борис Семеныч...

— Почему, Лариса?

— Думаю, вы сами знаете почему... Ну, если хотите, я вам скажу. Потому, что вы поступили с ним непорядочно! И продолжаете поступать непорядочно! Ваш отъезд — что это такое?

— Вот как? — сказал Терентьев, сдерживаясь, чтоб не прорвалось раздражение. — Оказывается, мне и отдохнуть нельзя — непорядочно... А с какого времени я обязан согласовывать с ним каждый шаг? Не с того ли, как он вторгнулся в наши с вами отношения? Вот уж, точно, порядочность: у кого просишь помощи, отбивать...

— Отбивать! — крикнула Лариса. Она вскочила, швырнула книгу на стенд. — Да как вы смеете это — отбивать? — Испугавшись своего крика, она заговорила тише: — Отбить можно у тех, кто держится за друга, не отдает его, а вы? «Идите, идите, вас зовут!» Вот вы какой! Вы никого не любите, вам никто не дорог, вы способны легко распрощаться даже с тем, кому перед тем твердили...

Ее голос прервался, она заплакала и отвернулась.

Терентьев был ошеломлен неожиданным обвинением. Она заговорила еще горячей и гневней:

— Вы любите только себя, только себя — свои идеи, свою работу. К остальному вы равнодушны, хоть и уверяете... Нет, подождите, я не кончила! Вот за это вы держитесь, тут у вас не вырвешь из рук ни одной мысли, ни одного словечка помощи! Это уж ваше, только ваше, по-настоящему любимое, вы зубами будете грызть, кто покусится... Отдых! От чего вам нужно отдыхать? Не отдых, а трусливое бегство! Вы уезжаете, чтоб вас случайно не принудили консультировать Аркадия! И разве вы поинтересовались, как я, что со мною?.. Это все так мелко для вас, так ничтожно!

Она снова заплакала, вытирала глаза платком. Он грустно сказал после некоторого молчания:

— Будьте благоразумны, Ларочка! Я, может быть, и плохой человек, но не такой уж плохой, как вы изображаете. Да, мне не хотелось возиться с Черданцевым, и не только потому, что моя тема мне дороже, хотя и это тоже — я ведь столько лет размышлял о том, чем мы сейчас занимаемся с вами, я сжился со всем этим...

Она прервала его враждебно:

— Все это уже не имеет значения. Аркадий твердо стоит на своих ногах. В его исследованиях наступил перелом, еще одна-две недели, и тема будет закончена. Посторонняя помощь ему уже не нужна.

Он сказал очень осторожно:

— Ну что же, хорошо, если так.

Они еще помолчали с минуту. Лариса понемногу успокаивалась. Терентьев сказал:

— Вы в стольких винах меня обвинили... Мне хотелось бы оправдаться перед вами.

— Боюсь, вам не удастся, — возразила она сухо. — Не будем терять напрасно времени. Вам еще надо собраться к поезду.

— Ларочка, не надо так!.. Поверьте, если я не обо всем расспрашиваю, так не потому, что меня не тревожит... Ваши отношения с Аркадием...

— Вас все же интересуют мои отношения с Аркадием? — спросила она с вызовом. — Что же вас интересует в них? Дружим ли мы? Да, дружим! Может, вас волнует, есть ли у нас близость? Могу и на это ответить. Близости у нас нет, но она будет. После защиты диссертации мы распишемся, это решено!

Она знала, что делает ему больно. Она глядела ему в глаза. В ее лице было что-то мстительное и злорадное. Он думал о том, что, в сущности, вовсе не знает эту то вспыльчивую, то задумчивую, всегда неровную женщину. Все-таки почему она так страстно хочет его унизить? Он не делал ей зла, видит бог, не собирается делать, не следовало бы так с ним разговаривать! Терентьев почувствовал себя постаревшим и усталым. Он растерянно улыбался своим мыслям, с болью чувствовал на лице эту нелепую, застывшую улыбку, но не мог ее согнать. Он взял брошенную ею на стенд книгу и снова положил.

— Надо уходить. Пишите мне. Сейчас, конечно, такие признания ни к чему, вы, возможно, и не поверите мне, но я вам друг, я по-прежнему ваш друг, Ларочка!

Она опять отвернулась, склонила голову. Он ласково провел рукой по ее волосам. Она схватила его руку, прижалась к ней щекой, прошептала:

— Я напишу, Борис Семеныч! И не сердитесь, что хотела вас обидеть... Я знаю, вы хороший, я всегда помню, что вы хороший!

18

В письмах она была откровенней — сообщала о прогулках и о работе, делилась чувствами и заботами. Она словно забыла об их последнем разговоре. Она беседовала с Терентьевым, как со старым, добрым другом. Все концентрировалось вокруг Аркадия, через каждые три строчки она возвращалась к нему. Его внимание и время поглощала теперь подготовка к защите диссертации. «Хлопот с ней ужас как много, — писала Лариса. — Шутак торопит, а Жигалов упирается, чтоб соблюсти какие-то глупые формы, — вот вредный!» «Я уверена что защита пройдет блестяще!» — ликовала она в другом письме. «Эксперименты закончены, диаграммы и графики вычерчены».

Перед концом отпуска пришли письмо и от Щетинина. «В институте смятение, — извещал он. — Шутак по-прежнему в восторге от Черданцева. С диссертацией его я не знакомился, она нарасхват, особенно и не хочется, если признаться. Он все так же несимпатичен мне, хотя успех голову ему не вскружил — кланяется первый и предупредительней, чем прежде. Времени он, конечно, не теряет даром — списался с каким-то заводом, оттуда прислали два метра бумаги с ахами и восклицательными дубинами: „Очень нужно!“, „Замечательно!“, „Настоящая помощь производству!“, „Заждались!“, „С нашей стороны любое содействие!“ Аркашка знает, какие подобрать словечки. После этого и Жигалов обмяк. Он сообразил, что на. Аркашкиной стряпне можно погреть руки. Нет совещания, чтоб он не твердил о нашей помощи производству. Вот так, милый. Надеюсь, ты не задержишься. Надо, надо тебе присутствовать на защите». У Терентьева было на этот предмет свое мнение. Когда закончился его срок в санатории, он переехал в гостиницу «Абхазия» на городской бульвар, чтоб задержаться еще на несколько дней. В гостинице было людно и шумно, еще людней и шумней было на улицах, море с грохотом било в бетонные причалы, гудели теплоходы, визжали цепи подъемных крапов, веерные пальмы выкручивали над головами лакированные листья, кипарисы тонко пахли гуталином — все кругом было натискано людьми, растениями, светом, тенями, запахами и звуками. Терентьев чувствовал себя отлично: он по-настоящему отдыхал. Он возвращался с уверенностью, что опоздает на защиту.

Он приехал как раз вовремя. Утром его перехватил в вестибюле института Жигалов. Грузный директор взял Терентьева под руку, что означало большое доверие и честь, и ввел к себе в кабинет.

— Очень рад, что вернулись, — сказал он, поставив на стол зеркальце и старательно наводя на лысину волосяной покров в один слой. — Сегодня ученый совет. Черданцев «остепеняется». Хотелось бы, чтоб вы хоть вчерне ознакомились с его опусом.

Терентьева всегда смешила забота Жигалова о сохранности «лысозащитной полосы». Он ответил, стараясь быть серьезным, — на всякий случай он отвернулся от директора:

— Боюсь, что уже не успею.

Жигалов вздохнул и убрал зеркальце в стол.

— Все так, не вы один. Младшие сотрудники набросились на диссертацию, как подростки на шпионский роман, а корифеи нос воротят.

Терентьев вежливо поинтересовался:

— Ну, и чем вы это объясняете?

Жигалов вздохнул еще шумнее:

— Как — чем? Не хотят ссориться с Евгением Алексеевичем. Он свое мнение обнародовал. Надо или оспорить, или безропотно присоединиться. Одно — страшновато, другое — неудобно. Не знать, о чем речь, всего удобней. По-вашему — не так?

— Не берусь судить, так или не так. Разрешите идти, Кирилл Петрович?

— Пожалуйста, идите. Как отдыхали, Борис Семеныч? Вид у вас вроде ничего. Вид туда и обратно, как говорят на юге.

— Отдыхал прекрасно. Купался, загорал и слушал радио.

Жигалов проводил Терентьева к двери.

— Да, еще одно — нарекания на вас... Пустячок, конечно, но знать надо. Академик что-то на вас ополчился. Недавно бушевал, что статью задерживаете, наплевательски относитесь к работе и прочее в том же духе. Я, разумеется, защищал, человек на отдыхе, надо же ему набрать сил — ничего слушать не хотел. Не знаю, кто его настроил против вас.

Терентьев пожал плечами. Все происходило, вероятно, как излагал Жигалов. Это ничего не меняло, Жигалов излагал неправильно. Факты были те же, смысл иной. Терентьев с нежностью подумал о Шутаке. Достанется ему от старика при встрече, ну и достанется! Тот просто понять не способен, как это человек в разгар работы удирает на южные пляжи. Можно представить себе, как он сердился, когда узнал, что Терентьев из Ленинграда, даже не заехав в институт, покатил в Сухуми.

— Я догадываюсь, кто настраивает академика против меня. Это, разумеется, Щетинин.

— Возможно, и Щетинин. Во всяком случае, я встревожился. Не люблю ссор и всякой такой групповщины. Если дойдет до ругани с академиком, я вас поддержу, можете на меня положиться.

Щетинин встретил Терентьева в коридоре. Они с размаху обнялись.

— Скотина! — весело оказал Терентьев. — Это ты устраиваешь мне пакости с Шутаком?

— Конечно, я! — заорал Щетинин. — Кто же еще? И еще не такую устрою, будь спокоен! Он тебе всыплет по первое число! Покажись, покажись! У тебя изумительный вид, расцвел, как девушка перед свадьбой.

— Скоро увяну при вашей дружеской помощи. Вы из меня выжмете жирок.

— Правильно, выжмем! В первый раз вижу, чтоб люди так безобразно толстели за два месяца.

— Как дела?

— Дела как дела — идут. Сомневаюсь, чтоб тебя интересовали наши дела. Ты всегда был возмутительно равнодушен к тому, что происходило за стенами твоей комнаты. Может, хочешь услышать, как Лариса?

— О Ларисе я знаю, она мне писала.

— Вряд ли она была с тобой откровенна. На Ларисе надо ставить крест, уводят замуж. Официальное загсовское благословение кражи произойдет, вероятно, на той неделе. Неожиданно, правда?

— Пока не очень. Говорю тебе, она писала. Где она сейчас?

— Вероятно, в вашей комнате. Она удрала из своей группы, как только разнесся слух, что ты в институте.

Лариса порывисто поднялась навстречу Терентьеву. Он долго не отпускал ее рук, с волнением всматривался в ее лицо. Лариса похудела и подурнела, совсем она не походила на девушек, расцветающих перед свадьбой. И встретила она его не так, как провожала: смотрела на него сияющими глазами, он мог лишь мечтать о такой встрече.

— Все вокруг толкуют о вашем замужестве, Ларочка, — сказал он, улыбаясь. — Когда вас можно будет поздравить официально?

Она ответила небрежно:

— О свадьбе — правда, а поздравлять не с чем. Девушкам надо выражать соболезнование, когда они выходят замуж. Они просто уступают настояниям женихов.

— Возможно, Ларочка, я девушкой не был, не знаю вашей психологии.

— Борис Семеныч, поговорим о другом, — попросила она. — Я больше не могу в новой группе, там очень скучно. Вы переведете меня к себе?

— А ваш Аркадий не будет возражать?

— Я его и спрашивать не стану!

— Вряд ли ему понравится такая самостоятельность.

— Ему придется примириться с моей самостоятельностью!..

Терентьев ходил по комнате, осматривал приборы, трогал штативы и термостаты, раскрывал шкафы. Он не думал раньше, что его так обрадует возвращение. В этой комнате он провел каких-нибудь полгода, но нигде не оставил такую большую частицу своей души, как здесь. Чувство это было неожиданно и приятно, он немного растрогался. Он сел за свой стол, включил и выключил лампу, потом снова обратился к Ларисе:

— Сегодня защита. Вам не страшно?

— Страшно, конечно, но я не показываю, чтоб не расстраивать его. Он волнуется.

— Перед защитой всегда волнуются, я то же когда-то испытал. Вы читали диссертацию?

— Полного текста не читала. Но мы говорили о каждом факте, часто спорили. Мне кажется, в работе Аркадия много нового и важного.

— Вы, конечно, будете на защите?

— Обязательно буду. Борис Семеныч, я знаю, что об этом неудобно, но от вас так много зависит...

— Понимаю, Ларочка, — перебил он. — Вы опасаетесь, что я по ошибке положу черный шар вместо белого? Успокойтесь, ошибок не будет. Я не могу спорить против оценки моей любимой ученицы — грустная была бы картина, правда?

— Не шутите, — сказала она благодарно. — Я ведь серьезно, а вы всегда шутите. Между прочим, Аркадий хочет поговорить с вами перед заседанием. А я пойду, я ведь бросила работу.

Когда Терентьев вышел из лаборатории, чтоб идти на заседание совета, в коридоре его перехватил Черданцев. Аспирант, очевидно, ожидал Терентьева, прохаживаясь около его двери. «Проще было постучаться и войти», — подумал Терентьев и, вежливо поклонившись, хотел пройти мимо. Черданцев поспешно остановил его:

— Борис Семеныч, одну минутку! Лариса не передавала, что мне надо с вами поговорить?

У Терентьева против воли поднялось старое недоброжелательство к Черданцеву. Тот опять выбирал окольные пути. Во всяком случае, теперь уж не следовало прибегать к посредничеству Ларисы. Терентьев со злостью поглядел на него. Черданцев был одет с особым тщанием, как всегда одеваются к защите, даже завился, подстриг усики, они были совсем маленькие. «Еще бы тебе бриллиантовую булавку в галстук!» — подумал Терентьев.

— Мне хочется вам сказать кое-что очень важное, — продолжал Черданцев. — Это относится к моей диссертации.

— По-моему, вам ничего не надо мне говорить, а мне выслушивать, — сухо ответил Терентьев. — Особенно перед защитой.

Он прошел, не оглядываясь. Побледневший, оскорбленный Черданцев смотрел ему вслед.

— Однако! — сказал он вслух и пожал плечами. — Даже выслушать не захотел, барин!

19

Терентьев уселся среди членов совета, недалеко от Жигалова. Опоздавший Щетинин протолкался к Терентьеву, но возвратился обратно, все места в центре были захвачены. Ждали Шутака, но из Академии наук позвонили, что он просит заседать без него. Многие члены совета пожалели, что явились, присутствие шумного академика придавало живость любому совещанию, теперь оставалось чинно скучать — обычнейшая защита, таких бывали уже десятки. Доктора в первом ряду президиума шепотом переговаривались. Жигалов повысил голос, чтобы установить видимость порядка. После короткой вводной речи секретаря совета Жигалов предоставил трибуну диссертанту.

Аудитория, самый пышный и большой зал института, была полна, явились гости со стороны, в проходах и у стен поставили дополнительные стулья. Почти все собравшиеся были незнакомы Терентьеву — и пожилые, непринужденно державшиеся люди, их пришло не так уж много, и молодежь, притихшая, скованная торжественностью церемонии. Женщин было меньше, чем мужчин, они жались в кучки по три, по четыре. В стороне сидела раскрасневшаяся Лариса. Она смотрела, не отрываясь, на Черданцева. Терентьеву казалось, что она боится пошевелиться. Лариса, видимо, и села подальше от знакомых, чтоб не пришлось ни с кем разговаривать и можно было без помех воспринимать обряд защиты. Терентьев усмехнулся. Влюбленные девушки во все времена одинаковы. Для них не существует реальных масштабов. В центре мира — любимый, все остальное — мелочь и пустяки.

Видимость порядка оставалась видимостью — члены совета не перешептывались больше, чтоб не попасть под укоризненный взгляд Жигалова, но слушали без напряжения. Диссертация подобна появившемуся на свет ребенку, все важное, единственно необходимое совершено с ней до защиты: подросла и была признана годной к деторождению мать — соискатель степени, подобрали отца — научного руководителя, плод их совместного труда долгие месяцы зрел, наливался соками, вспухал, определялся, приобретал завершенный вид, потом, завернутый в пеленки ледериновых переплетов, положен на стол — вон там, можно взять и перелистать его, покачать на руках. Он уже жил, этот научный младенец, в нем можно было узреть черты родителей: нигде так сильно не проявляется наследственность, как в подобных совместных творениях. Членам совета оставалось покропить водицей голосования появившееся на свет новое научное произведение и присвоить одному из родителей соответствующее родительское звание — все это можно проделать и не напрягая особенно внимания. Члены совета были спокойны. Ошибки не произойдет. Диссертация доброкачественна. Ребенок жизнеспособен. Гарантией этому и славное имя руководителя, и несомненные способности соискателя, и важность темы, и современная аппаратура лаборатории, где производилось исследование, — весь научный авторитет института, в том числе и они сами как его работники: они ведь просто бы не допустили, чтоб у них занимались пустяками! В обряде защиты, как и во всех обрядах, важно соблюсти форму, торжественность формы для многих — содержание церемонии. Заседания, где председательствовал Жигалов, протекали безукоризненно. Он вкладывал душу даже в объявление: «Слово предоставляется такому-то...»

Сейчас он на двадцать минут предоставил слово Черданцеву, и тот умело управлялся с каждой минутой, до отказа заполняя ее мыслями и фактами. Он вел речь по разработанному заранее графику. На стенах висели диаграммы экспериментов, таблицы химических анализов. Каждой диаграмме отводилось две минуты пояснений, таблице — полторы минуты. Можно было пожертвовать пятью-шестью секундами, это еще куда ни шло, но больших трат времени он позволить себе не мог. На всех защитах происходила подобная мучительная борьба со временем, это тоже была одна из немаловажных церемоний обряда. Некоторые диссертанты выпаливали по сотне слов в минуту, стреляли цифрами, как пулями, другие неторопливо декламировали выструганные до запятых формулировки — каждый справлялся с трудностями как умел. Черданцев, красивый, подтянутый, наставлял длинную указку то на одну, то на другую диаграмму, бросал мысли в аудиторию, как монеты — круглые, взвешенные, с насечкою по краям, чтобы бесследно не выскользнули из памяти. Доктора и профессора одобрительно переглядывались, удовлетворенно кивали головами — давно не приходилось слушать изящно построенную защиту. Озабоченный Жигалов успокаивался, его серое лицо розовело. Он всегда опасался провалов, провалы на защитах, нередкие в других институтах, свидетельствовали о плохом научном руководстве — он не мог допустить даже мысли о плохом руководстве в своем институте. Он искоса поглядывал на известных ему гостей, всматривался в незнакомую молодежь, густо заполнившую задние ряды, прислушивался к шепотку, изредка пробегавшему по рядам членов совета. О провале не могло быть и речи. Был успех.

Еще до того, как Черданцев заговорил, Терентьев быстро пробежал глазами диаграммы и таблицы, развешанные на стене. В них он не нашел ничего для себя нового, все это Черданцев рассказывал, когда приходил жаловаться на затруднения. Ничто там не могло по-серьезному заинтересовать Терентьева. У него отлегло от сердца. Он совестился, что оборвал Черданцева, когда тот пытался заговорить с ним. Кто знает, может, Черданцев нашел что-нибудь новое и собирался в последнюю минуту перед защитой проверить себя? Но диаграммы и таблицы показывали, что нового нет ничего. «Правильно! — думал Терентьев. — Заступничества Ларисы ему мало, хотел и сам заручиться моим голосом!» Терентьев успокоился. Только так и надо было отвечать Черданцеву, как он ответил.

Но когда Черданцев заговорил, Терентьева поразила первая же высказанная им мысль. С каждой новой фразой удивление Терентьева возрастало. Если в чертежах и графиках он узнал лишь то, о чем пространно толковал Черданцев раньше, то в объяснениях открывал свои собственные идеи. Черданцев ясными и завершенными фразами излагал гипотезы и взгляды Терентьева. Он хорошо слушал, этот юнец, запоминал каждое слово, Он совершил даже отделочную работу — отбросил, что было посложнее, выстроил разрозненные высказывания в какую-то свою систему. Он не просто заимствовал, еще и упрощал, это было то, что иногда называется среди ученых нехорошим словом — популяризация. Черданцев подогнал еще не опубликованные исследования Терентьева к своему уровню понимания.

А еще через некоторое время Терентьев услышал и то, чего уже совсем не ожидал услышать. Черданцев, подводя итоги, снова объяснял свои эксперименты с помощью разработанных Терентьевым теоретических представлений. Об этих мыслях, найденных перед отпуском, знали лишь сам Терентьев, Лариса да еще, пожалуй, Щетинин. Терентьев с негодованием вглядывался в Ларису, он хотел понять, с каким чувством она принимает доклад. Лица ее не было видно, голова опущена — она ни на кого не смотрела. Да, это так — она наслаждалась успехом! Последние научные находки Терентьева передала Черданцеву она — теперь это несомненно!

Черданцев докладывал, стоя боком к Терентьеву. В профиль его усики казались игрушечными — тонкая полоска, наклеенная на губе. Зато выступал вперед накрахмаленный воротник, а красноватый галстук сбоку походил на вмонтированную в воротник редиску с пушистым хвостом. Терентьев до того ненавидел этого человека, с легкостью оперировавшего чужими мыслями, что и внешность его казалась отвратительной. Терентьев с болью вспомнил, как сам добирался до своих идей, как волновался, приходил в восторг, ощущая еще неясную близость чего-то нового и значительного, потом разочаровывался, впадал в отчаяние, и снова его охватывали волнение и восторг, близость открытия становилась ощутимой — находка нового подобна родовым потугам, воистину все в мире рождается в муках! Где они здесь, родовые муки? Понимает ли Черданцев, что значат для Терентьева эти мысли? Вот, сказал бы я, вот, смотрите, все это открыто мною, а мог бы сделать много больше, если бы не отстранили меня насильно от науки! Щетинин как-то выразился: «Основополагающие твои мысли», — для меня они были лить оправдательными — оправдывали самое мое существование на свете!.. Непринужденно, непринужденно говорит о них Черданцев, непринужденно, как о чем-то давно известном, чуть ли не надоевшем!..

Черданцев вдруг оглянулся на Терентьева. Их взгляды пересеклись. Черданцев отвернулся и ровно произнес, видимо, загодя приготовленную фразу: «Разумеется, я излагаю здесь не плод своих личных исследований, а теоретические воззрения современной науки, разработанные в последние годы». Он больше не смотрел на Терентьева. Он отдал ему дань. Видимо, об этом он и собирался поговорить перед докладом: поставить в известность — как бы чего не вышло, — что совершит благопристойную ссылку. Он даже расшаркался — теоретические воззрения современной науки! Нет больше мучительных поисков, радостных находок Терентьева, просто общепринятые научные взгляды, что-то безымянное, но зато вполне на уровне последних достижений! За руку Черданцева не схватишь, он ничего себе не присваивает, он просто использует успехи науки для своего собственного успеха! И ты не встанешь, ты не скажешь, протестуя: «А между прочим, этот успех науки — я!» Боже, как бы на тебя посмотрели, как бы на тебя посмотрели, если бы ты это сделал! Наверно, кто-нибудь даже прошипел бы язвительно: «Я бы на вашем месте порадовался, что ваши мысли объявили успехом науки!» А Лариса не поднимает головы, ни разу не подняла головы! Любовь слепа, любовь глуха, только это, видимо, и нужно, чтоб тебе было двадцать пять лет, а не сорок два, и тогда разрастается такая воспринимающая, такая слепая и глухая любовь!

Черданцев раскланивался, собирая бумаги. К трибуне шел первый из официальных оппонентов; он в кратком слове похвалил широту научного кругозора соискателя и высоко оценил экспериментальную часть работы. Второй из оппонентов упомянул, что академик Шутак тоже хорошего мнения о диссертации, оппонент считал честью для себя присоединиться к мнению академика. Терентьев получил от Щетинина записку: «Почему они называются оппонентами, а не апологетами?» Он не ответил. Он даже не понял толком, о чем спрашивает Щетинин.

Жигалов, сверившись со списком ораторов, предоставил слово технологу отдаленного, но широко известного в стране металлургического завода. Наступил торжественнейший этап защиты, промышленность высказывала свое веское мнение о науке — точно ли та помогает производству? Жигалов постарался, чтобы присутствующие оценили значение момента. Он сообщил, что технолог прибыл в Москву с единственной целью — заключить договор с институтом на внедрение в производственные процессы разработанных диссертантом приемов и рецептов. А сам технолог подтвердил, что завод с большим интересом относится к работе Черданцева, им, заводу, кажется, что в ней найдены пути к разрешению многих одолевающих производство затруднений. Они просят институт командировать к ним диссертанта, со своей стороны они окажут любую помощь — людьми, деньгами, аппаратурой.

Сияющий Жигалов объявил перерыв в одну папироску. Терентьева перехватил Щетинин.

— Не ожидал от тебя, — сказал он с упреком. — Мог бы и не скрывать. Не убил бы я тебя, в самом деле!

— Не понимаю, о чем ты, — проговорил Терентьев.

— Вот еще — не понимает! Теперь уже поздно скрытничать. На каждой фразе Черданцева следы твоей руки. А мне казалось, ты согласился с моим советом — не лезть в его кухню...

— Значит, ты думаешь?..

— Конечно. Но только ты перешел границы, этого даже Шутак не добивался. Помощь помощью, а напичкать его, как фаршем, всеми своими открытиями было необязательно. Но я твоему новому подопечному черного шара вкачу, в этом он пусть не сомневается.

Терентьев отошел от Щетинина, чтоб не выдать себя неосторожным словом. Он с нетерпением ждал голосования: поскорее отделаться от всего этого и убраться к себе! Заранее расписанная обрядность речей становилась нестерпимой. Но после перерыва снова текли речи. Оратор за оратором продолжали обряд крещения молодого ученого. К тому моменту, когда Жигалов предложил приступить к голосованию, Терентьев совсем изнемог. Он первым подал голос «за» и поспешил к выходу. Зорко следивший за членами совета Жигалов остановил Терентьева.

— Нехорошо! — сказал он. — Неуважение к собрату по науке. Нет, Борис Семеныч, попрошу еще минут на пяток задержаться.

Терентьеву пришлось возвратиться в президиум и выслушать результаты голосования. Восемнадцать голосов были поданы «за», один — «против». Жигалов поздравил Черданцева и пожал ему руку. Аудитория, зашумев, повалила к дверям. Члены совета окружили Жигалова и технолога, те условливались о совместной работе института и завода. Счастливый Черданцев отвечал на сыпавшиеся отовсюду вопросы.

Терентьев подошел к Ларисе. Она сидела на том же месте. Терентьев через силу улыбнулся. Нельзя было показывать Ларисе свое состояние.

— Поздравляю! Защита прошла блестяще.

Лариса вскочила. Она была бледна.

— Не говорите со мной, — сказала она шепотом. — Мне стыдно, боже, как мне стыдно!

— Лариса! — растерянно воскликнул Терентьев.

Лариса кинулась к двери. Она ожесточенно протискивалась сквозь толпу выходивших. Терентьев сумрачно смотрел ей вслед. Подошедший Щетинин с силой стукнул его по плечу. Щетинин торжествовал.

— Молебен я ему все-таки испортил, — похвастался он. — Один голос ничего не решает, а запланированного благолепия не получилось. Ручаюсь, мой черный шарик жабой ляжет у него на сердце. Но что ты так вытаращился?

Терентьев с трудом отвел глаза от двери. Черданцев, оказывается, провел и Ларису, он был с ней неискренен!

Щетинин нетерпеливо дернул Терентьева за руку:

— Да что с тобой?

Терентьев не сдержал вновь охватившей его злобы:

— Ты спрашивал, почему я стал помогать ему?

— Именно. Странно, иначе не назовешь.

— Так вот! Я не читал его диссертации. И объяснений ему не подсказывал. Он просто хорошо запомнил, что я говорил о своей работе.

Щетинин на мгновение окаменел. Его побагровевшее лицо стало страшным. Он схватил Терентьева за руку и молча потащил к группке ученых, стоявших у стола.

— Стой! — сказал Терентьев, вырываясь. — Скажи, что ты задумал? Если собираешься попрекать Черданцева, так это уже бесцельно.

— Никаких упреков! — крикнул Щетинин. — Немедленно разоблачить мерзавца! Он там улыбается, как майский жук. Сейчас мы сотрем с его рожи улыбку!

Терентьев твердо сказал:

— Никуда мы не пойдем. Голосование уже состоялось, не забывай этого. И я сам проголосовал за него.

Щетинин слушал Терентьева с возмущением. С упрямым Терентьевым нельзя было обращаться как с другими, нормальными людьми. Раздраженный вмешательством, Терентьев мог и не подтвердить публично того, в чем сейчас признался Щетинину.

— Идиот! Если тебе все равно, я этого не допущу!

— Говорю тебе, успокойся! Воровства нет. Все гораздо сложнее.

— Ах, гораздо сложнее? — сказал Щетинин со злостью. — Что же ты предлагаешь в связи со сложностью? Неужели ты не понимаешь, что нельзя этого так оставить!

— Пойдем ко мне, там потолкуем.

20

Лариса, не стесняясь прохожих, плакала на улице. Она быстро шла, будто боялась опоздать, но идти было некуда. В конце концов она забралась на какую-то стройку, где закончили дневные работы, и прислонилась к забору. Пошел дождь, сперва она его не почувствовала, а когда промокла, было уже поздно уходить. Но дождь припустил с такой силой, что пришлось прятаться под первый попавшийся навес. Лариса продрогла, от сырости и волнения ее бил озноб. Аркадий обещал быть дома в десять. Завтра состоится большой банкет в «Астории», а сегодня они намеревались поужинать вдвоем в ресторане. Об ужине теперь не приходилось и думать.

Когда стрелка на часах подползла к девяти, Лариса вышла из-под навеса. Дождь еще шел, но без прежней силы. Она побежала к Черданцеву. Черданцев, открывший Ларисе дверь, пришел в ужас. Он содрал с нее насквозь промокшее пальто, повел в свою комнату.

— Да что с тобой? Где ты была? Я освободился очень скоро и побежал за тобой, но ты уже пропала. Тебе придется немного посидеть, в таком виде неудобно в ресторан.

Она в изнеможении села на диван. В маленькой тёплой комнате, заставленной старинными неудобными вещами (Черданцев снимал ее за триста рублей в месяц у вдовы-пенсионерки), Ларисе стало еще холоднее. Черданцев набросил на нее свой плащ, уговаривал снять платье, она отказалась. Он был встревожен.

— Нет, в самом деле, что случилось? — допытывался он. — Почему ты так промокла? Где ты провела это время?

— Сейчас поймешь! — ответила она. — Раньше скажи — ты доволен?

— Ну конечно! — Он счастливо захохотал. — Необыкновенный успех, ни у кого еще в нашем институте так не проходила защита! Я и надеяться не смел на что-либо подобное!

Она со страхом всматривалась в его лицо. Она видела его каждый день, но таким он ей еще не показывался. Он был незнаком и непонятен. В его шумном торжестве звучало что-то гадкое. Он почуял, что с ней неладно, и стал серьезен.

— Обо мне поговорим после, — сказал он, садясь рядом и обнимая ее. — Объясни, что произошло?

Она отстранилась.

— Нет, я хочу о тебе... Со мной ничего не произошло. Но вот что случилось с тобою?

Его недоумение и тревога превратились в раздражение и обиду. С Ларисой всегда приходилось быть настороже, никогда не угадать, как она поведет себя в следующую минуту. Ему правилась ее порывистость и мгновенные изменения настроения: с такой подругой не заскучаешь — тоже неплохо. Но в торжественный день, как сегодня, она могла бы и не портить ему радости.

Он снова обнял ее.

— Ларочка, я тебя временами не понимаю. Ты взволнована, успокойся, после поговорим.

— Почему ты не отвечаешь? Я хочу, чтоб ты ответил!

Тогда он заговорил с сердцем:

— Ах, что со мной случилось? Ты этого не знаешь? Да ничего важного — защитил с блеском кандидатскую диссертацию, ее издадут отдельной брошюрой, закономерности, найденные мною, получат применение в промышленности — говорю тебе, ничего особенного. Удивляюсь, что такие пустяки могли тебя расстроить.

Она вынесла его негодующий взгляд, еще сильнее прищурилась, чтоб лучше видеть его лицо.

— Я не об этом спрашиваю. Весь твой успех я видела собственными глазами.

— Может, соблаговолишь спросить яснее? Я отвечу на все, если разберу, что тебе надо.

— Ты отлично во всем разбираешься. Расскажи, как ты стал вором!

Он был так потрясен, что забыл об обиде.

— Ты с ума сошла? Подумай, что говоришь!

— Да, вором! Жалким вором!

Он протянул к ней руки, она их оттолкнула:

— Не смей! Ты не отвечаешь на мой вопрос!

У него задрожала нога, он прижал рукой колено, чтобы остановить дрожь, потом сказал:

— На такие вопросы не отвечают, Лариса. Их еще можно простить, если по недомыслию, а если нет — выгоняют вон.

— Выгоняй! Это последнее, что тебе осталось. И мне полезно — пойму наконец, каков ты настоящий!..

Он сделал еще попытку перевести разговор в нормальную колею.

— Не щурься! — сказал он. — Не рассматривай меня с таким ужасом. Я не прокаженный. Тебя, очевидно, возмутило, что я применил теорию Терентьева для объяснения собственных экспериментов?

— Значит, ты сознаешься? Ты сознаешься сам! Зачем же ты притворялся, что не понимаешь?.. Теперь я знаю, почему ты не дал мне текста диссертации! Ты опасался, что я найду там все, о чем ты меня выспрашивал. Какой стыд, какой стыд — воспользоваться чужим трудом!..

Он с досадой махнул рукой.

— Дурочка ты, Лариса, одно могу сказать. В науке всегда пользуются чужими достижениями, на них основывают свои собственные. Нет постой, дай уж мне досказать, я слушал тебя, не перебивал. Скажи, объявил ли я, что вот эти предположения, объясняющие изученные мною факты, что они мои, что я, один я их придумал?

— Еще бы ты это говорил!

— Но о выработанных рецептах я утверждал, что они мои, что это я их нашел, я разработал! Неужели ты не замечаешь разницы? И я во всеуслышание объявил, что исхожу из современных научных концепций, ничего не приписывал себе. Да, я воспользовался теорией Терентьева. С таким же правом я мог бы основываться на старой теории Аррениуса, и если не сделал этого, так потому, что Терентьев пошел дальше, его структурная активность захватывает глубже, чем электролитическая диссоциация Аррениуса. А завтра, возможно, воспользуются моими экспериментами, чтоб объяснить ими новые явления. Это же нормальный ход науки, пойми!

— Но он не опубликовывал своей теории, он ее не опубликовывал! А ты уже пользуешься ею.

— Ну и что же? Она еще по опубликована, но уже существует — она уже живет в пауке! А завтра он опубликует, и ему воздадут честь за открытие. Никто и не подумает, что он заимствовал у меня. Кстати, моя диссертация появится в печати позже его статьи, так что даже формальных неувязок не будет.

— Нет, ты невозможен! Ты не хочешь признать, что украл его достижения.

— И не признаю никогда. Я использовал его работу — да! Но достижение это принадлежит не ему одному, а всей науке. Наука всеобща. Никто не вправе положить ее себе в карман и выдавать желающим под расписку. Любой закон открывается не для себя и не на время, а для всех и навсегда, на всю историю человечества, ибо его уже не закрыть!

Она в отчаянии прижала руки к щекам. Она чувствовала, что он неправ, но не могла прорваться сквозь железную цепь его доказательств. Он продолжал, понимая, что одолевает:

— А когда появится его статья, знаешь, как скажут о моей работе: «У них в институте все явления объясняют по Терентьеву — создает человек свою школу». Вот как оно будет — меня зачислят к нему в ученики. И я спокойно мирюсь с этим.

Тогда она, снова теряя самообладание, крикнула:

— Самозванец ты, а не ученик Терентьева! Ты шел к его знаниям окольными путями, каких же результатов можно ожидать от тебя?

Впервые в этом споре она по-настоящему больно ударила его. Черданцев побледнел.

— А какие у меня оставались иные пути? — спросил он с горечью. — Разве меня не выставили из вашей лаборатории? Разве Терентьев твой не ходил к Жигалову с доносами, что я ухаживаю за тобой вместо того, чтоб заниматься наукой? Чтоб отшить от тебя, он пытался отшить меня от науки — вот какой это человек! Он мещанин, а не ученый. Я знал, я знал, что найдутся людишки, которые увидят недопустимое заимствование в том, что я излагаю мысли Терентьева, но не поминаю его фамилии. А как, как, я тебя спрашиваю, могу я сегодня назвать фамилию Терентьева, если работа его не опубликована, а официальные ссылки на неопубликованные работы запрещены? Но я опасался Щетинина, не Терентьева, и уж во всяком случав не тебя!

— Ты был уверен, что раз я люблю, то снесу от тебя всякую подлость?

— Не смей меня прерывать! Я уже сказал тебе — перестань щуриться! Если слепа, носи очки! Я не выношу, когда ты так щуришься!

— Что ты еще во мне не выносишь? Скажи уж все разом!

— Да, скажу, все скажу! Но раньше послушай о своем дорогом Терентьеве. Помнишь, я просил передать, что мне надо с ним поговорить? Я собирался сказать ему: «Борис Семеныч, вы еще не обнародовали ваши замечательные работы, но они уже оплодотворяют наши исследования, они вдохновляют и нас на открытия. Я не могу поминать ваше имя, чтоб не ссориться с Жигаловым, но я буду говорить о науке, подразумевая вас, ибо вы и наука для меня едины!» Вот как я собирался объясниться — воздать ему высшую благодарность, какую может заслужить ученый! А он? Он не захотел и выслушать меня. Он обдал меня презрительным взглядом и прошел мимо. Он процедил сквозь зубы: «Нам не о чем договариваться перед защитой!» Как будто я просил о голосе в свою пользу! Он, возможно, так и подумал, что я собираюсь упрашивать проголосовать за меня. Высокие мотивы он не способен понять, только низменные! Из мести он и вкатил мне этот единственный черный шар! От него всего можно ожидать!

— Я запрещаю тебе так говорить о нем!

Черданцев подошел к ней с перекошенным лицом.

Ларисе показалось, что он ее сейчас ударит, она невольно отодвинулась. Он проговорил злым шепотом:

— Ах так, запрещаешь? А не кажется ли тебе, дорогая, что корень твоего неистовства в том, что задели Терентьева, а не кого другого? Я излагал также и идею Шутака, но честь академика тебя мало тронула, а тут ты взвилась, потому что это твой возлюбленный учитель, может, и просто возлюбленный, без словечка «учитель»!

— Говори уж прямо, что он был моим любовником.

— Если ты сама признаешься...

— Значит, тебе нужно признание? Ты отлично знаешь, был ли кто у меня до тебя... Боже, какой ты подлец!

В нем клокотало бешенство. Он уже не помнил, что говорит:

— Правильно, подлец! Одни вы чистенькие, все остальные подлецы! Чистенькие, чистюлечки, чистоплюечки, молиться на вас, плакать от умиления! Нет, я все вижу, меня не обмануть! Я еще у Жигалова понял, какие твой Терентьев ходы роет...

Он взглянул на нее и замолчал, словно споткнулся на шаге. Только сейчас он понял, что зашел слишком далеко.

— Слушай и запоминай, потому что больше нам объясняться не придется, — сказала она. — Да, он мой возлюбленный, я люблю его, но иначе, чем ты воображаешь. Если бы ты только знал... Я ведь поссорилась с ним из-за тебя! Поссорилась, злилась на него из-за тебя, пойми! Как я ждала этой защиты! Как гордилась твоим умом, твоим дарованием, гордилась заранее, слепо, беспричинно! Нет, разве тебе понять — у меня все дрожало в груди, когда я думала, как ты выйдешь на трибуну, всех поразишь и мыслями и открытиями, его поразишь прежде всего, чтоб он подошел потом ко мне, протянул мне руку: «Я рад за вас, Лариса, я от души рад!» Вот о чем я мечтала, вот на что надеялась! А ты и на самом деле всех поразил — жалким заимствованием, раз уж тебе не нравится это слово «вор». Ему, ему его же собственные мысли — больше ты ничего не сумел! Да, теперь Борис Семеныч сможет меня поздравить: «Любите этого человека, Лариса, он очень ловко первым пускает в оборот созданное другими, он спешит воспользоваться чужим, чтоб кто-нибудь не перебил!..» Нет, как мне стыдно, как мне стыдно!.

Он воскликнул, пытаясь схватить ее руку:

— Лариса, это же безумие!..

— Не трогай меня! Когда ты прикасаешься, остается грязь!

— Я требую, прекрати наконец истерику!

Она схватила пальто. Нахмуренный и озлобленный, он следил за ней с дивана.

— Если ты уйдешь сейчас, я не прощу никогда этой сцены!

— Думаю, тебе надо позаботиться: совсем о другом: чтоб я тебя простила. И это вряд ли тебе удастся!

— Не умру. Меня не тянет к веревке. Самоубийство от несчастной любви для меня пройденный этап. Думаю, впрочем, что ты еще вернешься, и мы поговорим по-человечески, а не как базарные торговки.

— Не надейся! — крикнула она, рванув дверь. — В этой отвратительной комнате больше и ноги моей не будет! Меня воротит от одного ее вида!

Его почему-то уязвило, что она обругала комнату. Он вышел за Ларисой в коридор, отпер ключом наружную дверь.

— Раньше ты была другого мнения о ней, — напомнил он, силясь улыбнуться дрожащими губами. — Ты говорила, что в этой каморке прошли лучшие часы твоей жизни...

— Я и о тебе раньше была другого мнения. Я противна себе, что так могла обмануться!

Он стоял у двери и молча смотрел, как она торопливо уходила.

Сперва она пошла домой, потом, уже на Петровском бульваре, внезапно повернула к институту. Надо было подождать трамвая или перехватить такси, на ожидание у нее не хватало терпения — она заторопилась пешком. До института было далеко, она три раза присаживалась отдохнуть, но тут же опять вскакивала и шла, почти бежала. Ее обогнал возвращавшийся в парк пустой троллейбус, она умоляюще махнула рукой, сердобольный водитель подкатил к тротуару. Троллейбус был без кондуктора. У Ларисы не хватило мелочи. Она уже собиралась бросить в кассу бумажку, но водитель крикнул, что этого не надо.

— В другой раз положите двойную плату, — сказал он. — Что это вы так задержались? Маленькие давно спят.

В институте всегда кто-нибудь работал ночью. В подвале гудели генераторы, заряжавшие аккумуляторные батареи, химики возились со срочными анализами, подготавливали заказанные на утро растворы и реактивы. Лариса промчалась мимо вахтера и раскрытых дверей в другие лаборатории. Она была уверена, что Терентьев тут, он иногда поздно задерживался, сегодня он, конечно, не пойдет домой. Она толкнула дверь, не постучав.

В комнате сидели Терентьев и Щетинин.

21

Щетинин понимал, что предстоит нелегкий разговор. За год их знакомства он еще не видал Терентьева в таком возбуждении. Когда тот рванулся, не давая подтащить себя к Жигалову, Щетинину показалось, что его крутануло рычагом машины — он еле устоял на ногах. Как это иногда бывает, один гнев был перекрыт другим. Щетинин взял себя в руки. Пока они в молчании шли из зала совета в комнату Терентьева, находившуюся в другом конце здания, Щетинин торопливо обдумывал, как правильнее подойти к делу.

Одно он чувствовал с полной отчетливостью: уступать нельзя! В Терентьеве удивительно объединились логика с фантазией, последовательность с капризами, проницательность, почти ясновидение, с детской беспомощностью и ложными представлениями. Он жил словно в двух мирах. В одном — мире науки — Терентьев был ясен, глубок и систематичен. В другом — обыденной жизни, в значительно более простом для каждого человека мире непосредственного окружения — Терентьев двигался словно во сне, всматривался в этот мир и не понимал его: тот проносился мимо хаотической путаницей лиц и событий, любые несообразности в нем казались естественными. Здесь уже не было логики, одни настроения. Под эти настроения приходилось подлаживаться, их надо было искусно и незаметно менять, чтоб чего-нибудь от Терентьева добиться. Щетинин заметил, как напряженно Терентьев следил за убегающей ив зала Ларисой — где-то здесь таились причины его противоречивого поведения. Он обижен безобразным поступком Черданцева, это несомненно, размышлял про себя Щетинин, иначе он и не заговорил бы на эту тему. А дать Черданцеву по рукам опасается, чтоб не обидеть влюбленную в того Ларису. Разумеется, он не признается мне в этом. Он будет искать мотивы поблаговидней и посерьезней, пустится в фантастические теории всепрощения, вот тут и дать ему крупной сдачи!

В соответствии с этим заранее придуманным планом Щетинин прямо спросил Терентьева, когда они вошли в лабораторию и тот уселся у своего стола:

— Сам ты поступил бы, как он?

— Нет, — сердито ответил Терентьев. — Я слишком самолюбив для этого. Но я не хочу всех стричь под свою гребенку. И я не считаю, что самолюбие относится к числу человеческих достоинств.

— Дело не в самолюбии, а в порядочности! Ты порядочный человек, а он нет. Непорядочных людей надо наказывать, чтоб пакости не сходили им с рук легко.

— За что ты его собираешься наказывать? Он написал, в общем, неплохую диссертацию, правильно объяснил эксперименты...

— Вот-вот! — закричал Щетинин. — За это самое — за правильность! Сам бы он до нее не добрался. Исследования его — заемные, а научная степень ему достанется личная! Я не хочу, чтоб совершилась эта несправедливость — награда не по заслугам.

— Иначе говоря, ты продолжаешь считать его вором, настаиваешь на плагиате?

— Нет! Тут я погорячился, признаю. Прямого плагиата не было, он не приписывал себе твои открытия. Но поступок его неэтичен, он недостоин ученого. Вот на чем я настаиваю — ловкачам не место в науке. Я напишу свой личный протест в ВАК, если ты откажешься присоединиться.

Терентьев не ответил. Некрасивый Щетинин, злясь, напоминал взъерошенного зверька, готового накинуться даже на того, кто его погладит. Переубеждать его, особенно когда он рассержен, — нелегкий труд. Но Терентьев думал не о возражениях Щетинину, а о Ларисе. Для нее доклад Черданцева оказался неожиданным, как и для Терентьева. В этом было что-то очень важное, но Щетинин не давал спокойно продумать, где тут истинный корень дела. Одно знал о себе Терентьев: первое возмущение от доклада прошло, многих мыслей, сгоряча одолевших его на защите, он уже не принимал. Правда лежала где-то в стороне, не у него и не у Черданцева; нужно было спокойно и объективно допытываться правды, а не кричать и размахивать руками, как Щетинин.

Щетинин в возмущении топнул ногой, остановившись перед Терентьевым.

— Чего ты молчишь? О чем думаешь?

— Я хочу тебя спросить вот о чем, — сказал Терентьев. — Допусти на минуту, что меня официально назначили руководителем его темы. В этом случае он мог ведь все явления толковать сообразно моим представлениям? Иначе зачем тогда и руководитель, зачем создаются научные школы?

— Но ты не был его руководителем, пойми, ты не был!

— Значит, дело в словечке «руководитель»? Был бы выпущен приказ с этим словечком, не было бы у Черданцева проступка, нет этого приказа — проступок. Вот о чем у нас идет спор — о словах, а не о существе, самый дрянной, самый никчемный спор...

Щетинин так разволновался, что у него запрыгали губы. Начиналось то самое, чего он опасался. Чтоб оправдать свою трусость, Терентьев срочно придумывал очередную фантастическую теорию. Теперь он будет носиться с ней, как дурень с писаной торбой! Щетинин горячо и быстро заговорил, не давая Терентьеву вставить словечко. Все это ерунда, абсолютнейший вздор, неумная софистика! Спор не о словах, о деле, поступках, о законной награде за работу. Кто трудился над разработкой структурной активности ионов в растворе? Терентьев? Значит, ему за это — признание, степени, слава, вовсе не Черданцеву — гнать подальше от науки проходимца! Все остальное или сладенькое толстовство — этакие голубенькие христосики, или, по-современному, пошлейшая уравниловка! Да, уравниловка! Вот самое точное, самое убийственное определение — уравниловка! Тем, что ты оправдываешь использовавшего твои мысли Черданцева, ты не одним собой поступаешься, нет, ты замахиваешься на священные принципы — уравниваешь дурака и талант, трудягу и тунеядца, создателя и стяжателя... Нет, но только сейчас, даже и в отдаленном будущем, при развитом коммунизме, будет жить этот вечный принцип: почет и признание тому, кто заслуживает почета и признания...

Щетинин вдруг оборвал свою страстную речь. Терентьев, встав, надвигался на него. Он возвышался горой над маленьким Щетининым, всматривался в него побелевшими от гнева глазами.

— Хватит! — сказал он глухим голосом, стукнув кулаком по столу. — Слышишь, хватит! Нечего тебе говорить о будущем, в котором ты не разбираешься. Люди трудятся не ради одних высших знаков отличия, как воображаешь ты, есть еще и такая штука, как сама работа!

Щетинин чуть не обругал себя.

Приходя в гнев, Терентьев становился глух к логике. Спорить с ним сейчас все равно, что со стеной, со стеной даже удобней: она не затопает ногами и не застучит кулаком взамен аргументов. Самое же плохое было в том, что он, Щетинин, собственной неосторожностью отвлек разговор от вполне реального, элементарно ясного вопроса о недостойном поведении Черданцева в заоблачные абстракции, в дискуссию о далеком будущем. Терентьева хлебом не корми, но дай о нем поболтать: он говорит так, словно сам пришел в эту жизнь оттуда, из отдаленного будущего. Когда Терентьев садился на любимого конька, Щетинин усмехался или отмалчивался. Будущее, как его изображал Терентьев, Щетинина но увлекало — утопическая картинка гармоничного рая, без горестей, без неудач, без сомнений и, вероятно, без жгучих стремлений. Щетинин как-то купил у букиниста полтораста гравюр Доре на темы Данте. Залитый сиянием рай ему не понравился, жить в том раю было приторно и душно, как в конфетной коробке. Разговоры Терентьева о будущих временах рисовали такие же скучные райские картинки, как у Доре; Щетинину хотелось более мускулистого и энергичного будущего. Даже намокать на это Терентьеву было неблагоразумно, тот немедленно откроет дискуссию часа на три.

— Сядь! — потребовал Щетинин, взяв его за руку. — Успокойся! Ну, не ожидал, что ты способен так беситься. Прошу тебя, садись.

Терентьев присел, отвернувшись от Щетинина. Через некоторое время Терентьев заговорил спокойней:

— Уравниловка! Ты, значит, думаешь, что жадность к почету и материальным благам — вечные свойства человека? А мне на них плевать, и Аррениусу — вон он там, на стене, — было плевать, и этому Вант-Гоффу. Из-за одних денег они, что ли, работали? Из-за чинов и славы?

Щетинин возразил с достоинством:

— Ты, кажется, изображаешь меня погрязшим в материальных интересах, чуть ли не отрыжкой старины. Между прочим, я не так уж прикован к удобствам быта и не стал бы лезть в драку ради личного почета. А если забочусь о тебе, так потому, что ты заслуживаешь заботы, хоть и не понимаешь этого...

Терентьев остывал после вспышки. Ему было совестно перед другом, тот искренне желал ему добра. Он не заслужил оскорблений, которые нанес ему Терентьев. Принужденно улыбнувшись, Терентьев сказал:

— Давай договоримся: никакой уравниловки. Но только распространим этот принцип и на характеры людей. Люди разные. Одних больше интересуют материальные блага, других — духовные, третьи бредят славой, четвертым на славу начхать. Будем уважать их личные стремления, если, конечно, они вливаются в общественный поток, а не идут против него. Одно у нас должно быть общим — приносить посильную пользу обществу. Устраивает тебя такая высокая формулировка?

Щетинин больше всего боялся начинать новый спор на абстрактные темы. Воду в ступе можно толочь хоть неделю, толку не получится: толченая вода не лучше обычной. Терентьеву надо было дать время, чтоб он спустился с заоблачных высот на твердую почву. Щетинин, язвительно усмехнувшись, проговорил:

— Да, ты прав, люди, они разные... А лошади кушают овес, а земля круглая, а дураки набитые... Святая, святая истина!..

В этот момент в комнату ворвалась Лариса. Она остановилась, увидев Щетинина, потом опустилась на стул и прошептала:

— Я знала, что вы здесь, Борис Семеныч. Я хотела видеть вас.

Терентьев помог ей снять еще сырое пальто.

— Откуда вы?

— Мы поссорились навсегда, Борис Семеныч! Я не могла иначе... Я сказала Аркадию, что он вор!

Она заплакала.

— Успокойтесь, Ларочка, не надо слез!

— Стоп! — сказал Щетинин, торжествуя. Он рукой отвел Терентьева. — Это уже не я говорю, Борис, а она. Надеюсь, к ней ты прислушаешься больше, чем ко мне.

— Нашел беспристрастного человека! — с досадой возразил Терентьев. — Именно потому, что он ей близок, она не простит ему никакой ошибки.

Щетинин повернулся к Ларисе.

— Мы с Борисом Семеновичем тоже едва не поссорились. Он, к сожалению, торопится подставить правую щеку, когда его огреют по левой. Ну, а мне это непротивленчество противно. По-моему, происшествие касается нас всех. Я предлагаю опротестовать диссертацию, пока ее не утвердила ВАК.

Лариса схватила Щетинина за руку.

— Правильно!.. Нельзя, чтоб ему сошло безнаказанно!...

— Ты слышал, Борис? — сказал Щетинин, пожимая плечами. — Думаю, спорить не о чем. Можешь стоять в стороне, если тебе так больше нравится. Я сам займусь разоблачением Черданцева.

Теперь он знал, что никакой софистикой не даст отвлечь себя в сторону. Неожиданное появление Ларисы все меняло. Она, как и Щетинин, негодует, она вовсе не собирается оправдывать своего жениха: уже это одно должно показать Терентьеву, как тяжка вина Черданцева. Нет, не понимал я по-настоящему этой девчонки. Вон с какой страстью она напала на того, кто еще вчера, еще сегодня утром был ей всех ближе! Она не пощадила себя, чтобы не пощадить виновного.

— Вы молодец, Лариса, — сказал Щетинин с уважением. — Нет, просто молодец, что все это высказали своему Аркадию!

Терентьев с раздражением повернулся было к нему, но смолчал. Он положил руку на плечо Ларисе, ласково встряхнул — она сдержала новые слезы.

— Я так виновата перед вами, — сказала она.

— Завтра вы поглядите на это происшествие другими глазами, тогда и поговорим.

— Надеюсь, что и ты завтра взглянешь по-иному, — наметил Щетинин. — Хотя, конечно, от такого крученого, как ты, многого не ожидаю.

— Иди к черту! — коротко сказал Терентьев. Щетинин запахнул пальто и значительно посмотрел на Ларису.

— Я пошел. Думаю, и без меня вам хватит о чем толковать.

После его ухода Лариса попросила:

— Проводите меня домой, Борис Семеныч.

На улице Терентьев взял ее под руку.

— Вы дрожите, Ларочка. Возвратимся в институт и вызовем такси.

— Позвоним из автомата. Идемте, я не хочу стоять!

От ходьбы она немного согрелась и перестала дрожать. Диспетчер такси сообщил, что высылает на площадь машину, и назвал ее номер. Терентьев с Ларисой заторопились, чтобы такси не перехватили. На площади не было никакой машины. Лариса устало прислонилась к фонарному столбу.

Терентьев прохаживался по тротуару, взглядывая на нее. Она казалась незнакомой. Еще недавно в ней видели легкомысленную и забавную девчонку, хоть он и тогда открывал несоответствие между ее полудетским личиком и вполне оформившейся фигурой, между пустенькой речью и умным взглядом. «Года через три, — размышлял он иногда, — она совершенно переменится — не узнать». Она переменилась в три месяца, он ее не узнавал. Он был в затруднении: как подступиться, о чем разговаривать с этой серьезной, глубоко потрясенной женщиной?

— Не печальтесь, — сказал он. — Не следует преувеличивать случившееся...

— Не оправдывайте Аркадия, — ответила Лариса. — Не нужно его оправдывать!..

— Вы беспощадны... Люди ошибаются, с этим приходится мириться.

Она заговорила с гневом и болью:

— Не хочу примиряться! Не хочу любить тех, кто совершает подлости!

Он снова заходил по тротуару. В молчании они поджидали такси. Лариса обернулась к Терентьеву:

— Я хочу вам еще сказать... Вы должны все знать!

— Разумеется, говорите. Со мной можно делиться всем.

Она минуту молчала. Он ждал.

— Я беременна, — оказала она.

Запоздавшее такси на полной скорости развернулось на площади. Терентьев усадил Ларису. Он не отпускал ее руки, в руке резкими толчками — словно стреляя — билась кровь. Они молчали до самого дома Ларисы.

Подведя ее к парадному, Терентьев спросил:

— Аркадий об этом уже знает?

— Нет. Зачем ему знать? С ним все кончено. Когда-нибудь он узнает, но не от меня. Ребенка ведь не скрыть.

22

Щетинин, загораясь, весь отдавался захватившей его идее. Теория Терентьева должна появиться в свет не по кусочкам, утянутым в чужие диссертации, но стройно, логически завершенной системой. Он не позволит, чтоб заранее ее общипывали и разбазаривали на мелкие идейки. Щетинин кипел, собираясь на большое сражение. Он готов был, если понадобится, ломать любое сопротивление.

Прежде всего надо было преодолеть сопротивление Жигалова. Щетинин попросил директора принять его для важного разговора. Жигалов с тревогой смотрел на возбужденно бегавшего по ковровой дорожке Щетинина. Даже в этом важном кабинете тот не мог совладать с привычкой выражать себя раньше движением, чем словом.

Жигалов и слышать не хотел о скандале. Кому не известно, что молодые экспериментаторы открывают новые факты, а новые объяснения, согласно старым своим теориям, дают видные теоретики? К тому же все бумаги по защите сегодня ушли в ВАК. Посылать вдогонку протест — вроде себя самого высечь!

— Вам будет приятнее, если посекут другие? — ехидно поинтересовался Щетинин. — Поймите, скандала не избежать. К науке, как к невесте, надо подходить только с чистыми руками. Неужели вам не ясно, что поступок Черданцева безобразен?

Жигалов озадаченно мотал головой.

— Положеньице! И ведь объясняли ему, чтоб не лез в работу Терентьева, нет, проник украдкой! У меня такая мысль, Михаил Денисович: оформим Терентьева вторым руководителем, с запозданием, правда, но ничего. Тогда и заимствований никаких. Все ведь знают, что практически он консультировал Черданцева. Не думаю, чтоб Терентьев заупрямился, Единственная встретится трудность — бухгалтерия, страх они не любят выплачивать задним числом вознаграждение за руководство.

— Терентьев, конечно, не заупрямится, — согласился Щетинин. — И с бухгалтерией, думаю, вы справитесь. Но вот как вам удастся справиться с собственной совестью?

Жигалов откинулся на спинку кресла и с достоинством поглядел на Щетинина.

— Не соображаю, как вас понимать?

— А вот так и понимайте, как я сказал, — отрубил Щетинин. — В институте ходят слухи о вашем особом отношении к Терентьеву. Принимали его на работу вы без энтузиазма, недавно объявляли его тему исчерпанной. А теперь собираетесь прикрыть своим авторитетом, что без разрешения использовали еще не опубликованную его теорию. Странно, но всем бросается б глаза: недолюбливаете вы Терентьева.

Жигалов не прерывал Щетинина. Реабилитированных кругом становилось все больше, их наперебой старались устроить получше, давали им квартиры, но скупились на пенсии и должности. Даже в их институте таких людей было с десяток. Создавать себе славу фрондера, прущего против потока, Жигалов не хотел. Начинается с упреков в личной антипатии, а кончится подозрением в противодействии партийной линии, думал Жигалов. Он улавливал угрозу в словах Щетинина. Директор не раз в своей жизни наблюдал, как крохотный личный укор вдруг вырастал в ошеломляющее политическое обвинение. Правда, время сейчас мало благоприятствовало подобным поворотам событии, но Жигалов не мог за несколько лет расстаться с тем, что вдалбливалось в него десятилетиями. Он понемногу усваивал новые взгляды, но не забывал и старых страхов.

Не глядя на Щетинина, Жигалов сказал: — Кому-кому, а уж вам бы, Михаил Денисович!.. Вы же хорошо осведомлены об истинном моем отношении к Терентьеву. Ладно, дайте мне денек-другой пораскинуть мозгами. Шутак, жалко, сегодня уехал, такие непростые вопросы без него решать!

Щетинин удалился, торжествуя. Его намек на скрытое недоброжелательство Жигалова к Терентьеву был меток. Жигалов, конечно, обеспокоен. Он теперь будет думать об одном: как бы доказать свое уважение к Терентьеву, ничего другого не остается.

Жигалов, однако, размышлял не об этом.

— Черданцев, Черданцев! — вздыхая, бормотал Жигалов. — Столько надежд было на его диссертацию! Высечь бы его, да побольнее, ах, неприятный же человек!

Он еще долго бормотал себе под нос, тяжело поворачиваясь в кресле, потом взялся за телефоны. План его был прост, но выполнить его было не просто. «По запарке» могли опорочить и найденные диссертантом результаты, допустить такое было нельзя. И не потому, что пришлось бы крепко поссориться с Шутаком, хоть и это было неприятно, но и по иным, более глубоким причинам: Жигалов не хотел идти против себя, унижать то главное свое достоинство, за которое его ценило начальство и терпели строптивые ученые, мало ладившие и с прежними, до него, директорами. Этим главным своим достоинством он считал умение прислушиваться к запросам производства.

И до Жигалова в институте разрабатывались время от времени чисто промышленные темы, но все это шло на задворках науки, где-то у второстепенных работников — ведущие доктора мало интересовались промышленностью. «Прикладная химия еще не технология», — любили говорить в институте. Шутак ругался, но никого переломить не сумел. Жигалов оказался настойчивей. Он затеял переписку с заводами, посылал докторов в командировки, устраивал совместные с практиками испытания в цехах. Диссертация Черданцева больше, чем любая другая работа, всеми корнями уходила в заводскую технологию, недаром ею так заинтересовались на производстве. Личные свары личными сварами, а цех цехом, цеху надо было помогать. Свары должны затихнуть в институте, ни в коей случае их не выводить за ворота, а проделанной работе — простор.

— Личности, личности! — бормотал Жигалов, набирая номер. — Всеобщую войну разожгут из-за личностей. Интересно, что присоветует Михаил Аркадьевич? Со Степаном Кондратьевичем тоже придется проконсультироваться. Эх, не ко времени умчался Шутак: он бы выдал Щетинину со всеми его Терентьевыми!..

Телефон у Михаила Аркадьевича был занят, а Степан Кондратьевич — оба начальники Жигалова — уехал в Совет Министров. Жигалов с досадой бросил трубку на рычаг. По всему выходило, что без скандала не обойдется. Мелкие ссоры среди сотрудников Жигалов допускал: примирение враждующих помогало начальствовать. Но больших драк он побаивался. Лучше худой мир, чем добрая потасовка. Его не утешало даже то, что он одерживал в драках верх. Много раз побеждать было много хуже, чем ни разу не драться, — это Жигалов усвоил твердо.

— Потом позвоню, — решил Жигалов. — Вечерком. Лучше даже прямо на квартиру, чтоб не скомкать разговора.

Когда Жигалов вызвал к себе Терентьева и Щетинина, даже по внешнему его виду было ясно, что он настроился на трудный спор. Еще никогда начес на его лысине но был так беспощадно четок. Жигалов потрогал голову обеими руками и молча показал на кресло.

— Мальчишка! — сказал он о Черданцеве. — Битый час с ним возился, затвердил одно: наука не признает частной собственности на идеи. Ну как такому втолковать? На той неделе уезжает на завод налаживать новую схему. Не знаю, не знаю теперь: справится ли сам?.. Вам бы ехать, а не ему, да разве вы поедете? Так все же, Борис Семеныч, я запретил возиться с Черданцевым, а вы, получается, втихомолку руководили им?

Щетинин выразительно пожал плечами. Он готов был вспылить и наговорить дерзостей. Жигалов с надеждой смотрел на Терентьева. Терентьев ответил не сразу. Самое простое было бы проговорить со скукой: «Не знаю, зачем весь этот шум вокруг пустяка? Руководил, конечно, надо же было закончить, раз начал. И Шутак о том же просил. Наказывайте уж нас двоих за нарушение ваших бюрократических правил». Жигалов обрадовался бы такому ответу, он простил бы и словечко о бюрократии. Ложь во спасение, так называли некогда такие поступки, их считали вполне благовидными. Терентьев вспомнил, что раньше не был безгрешен, лгать приходилось в жизни не раз и не во спасение, а чтоб отвязались, незачем тут разыгрывать из себя особенно принципиального! Как все станет просто, скажи он несколько этих простых слов!

Уговаривая себя солгать, он знал, что сделать этого не сможет.

— Запрета вашего я не нарушал. Черданцев применил мои взгляды в своей работе самостоятельно. Для меня лестно, что он опирался на них как на общенаучные истины.

Жигалов вздохнул и почесал лысину.

— Лестно, лестно... Но неправомочно. Неопубликованная работа — какая же это общенаучная истина? Я потолковал кое с кем в верхах — шуму создавать не будем, а выводы для себя сделаем. Поговорим об этом происшествии на парткоме.

В разговор вмешался Щетинин. Терентьев не слушал их спора. Ему казалось, что они занимаются не разысканием истицы, не защитой научных взглядов, а утверждением личных интересов. «Как лавочники, как лавочники о лавочных своих заботах!» — думал он, морщась. Лучше всего бы громко выругаться и уйти! Он уже собирался подняться, когда к нему обратился Жигалов:

— Меня порадовала ваша статья. Написано энергично, идеи, широта... У нас явилась мысль расширить ваши исследования. Создадим новую группу под названием «Лаборатория структуры растворов». Не возражаете?

— Нет, конечно. И название отвечает сути.

— Я ведь к чему, — продолжал Жигалов. — В институте ряд тем можно было бы объединить под вашей теоретической эгидой. Например, о себе... Сколько тружусь над строением основных солей никеля непостоянного состава, все не завершу: административная работа, да и теоретическая сторона мало исследована... Званиями и должностями считаться не будем, общее руководство темою остается у вас.

— Можно доработать вместе, — равнодушно сказал Терентьев.

В коридоре Щетинин в восторге ударил Терентьева по плечу.

— Понимаешь, как поворачиваются дела? Расширение лаборатории, сам Жигалов в помощники — это признание! Даже такой зубр, как он, сообразил, что Терентьев — новое направление в науке. Благодари меня, я его недавно кольнул, что он тебя сознательно затирает. Сразу повернул на сто восемьдесят градусов. У таких ведь как: если нельзя нежелательного человека затереть, будут стараться оседлать его.

— Я тебе благодарен, — тихо сказал Терентьев. — Но сейчас оставь меня на время одного.

— Да что с тобой? — вскричал изумленный Щетинин. — Что ты надумал?

— Ничего, ничего... Хочу спокойно подумать. Прости, но от всех этих разговоров впечатление, будто наелся дряни...

Щетинин остановился, словно его ударили. Терентьев торопливо ушел к себе, а Щетинин поплелся в свою группу. Он брел, заложив руки за спину, тихо ругался про себя, гневно поднимал плечи. На него с любопытством оглядывались.

23

Черданцев еще до того, как его вызвал Жигалов для объяснений, почувствовал перемену в окружающем: похвалы, которыми его засыпали в первый день защиты, что-то быстро схлынули, приветливые лица замыкались, дружелюбные взгляды превращались в иронические. Подавленный ссорой с Ларисой, он вначале не придал этому значения. Всех не ублажишь, а злопыхателей и завистников тем более. Он продолжал негодовать на Ларису. Она одна, со своей пристрастностью к Терентьеву, открыла крамолу в том, что было естественным ходом событий! Ей нельзя прощать, иначе вся их дальнейшая жизнь пойдет кривить по путаным дорожкам! «Что-что, а роль тряпичного мужа при властной супруге мне мало подходит. Надо, чтоб Лариса поняла это со всей определенностью!»

В эти первые дни после разрыва Черданцев не сомневался, что все успокоится и перемелется — мука будет. Взамен муки посыпался град.

Им овладело состояние, похожее на длительное ошеломление. Он искренне не мог понять, что произошло. Кругом говорили, что Щетинин подводит под него мину. Что же, от такого, как Щетинин, всего можно ждать! Черданцев надеялся, что бессовестные действия Щетинина вызовут возмущение. Щетинин продолжал свои подкопы, никто не препятствовал, никто не осуждал. Наоборот, он встречал сочувствие. Резкая перепалка с Жигаловым показала, что хорошего впереди ожидать не приходится.

И первым реальным выводом, который Черданцев сделал из неожиданного поворота событий, был тот, что Лариса не придет к нему с просьбой о прощении. Она, конечно, торжествует. Он в прах разбил ее доводы в споре у него дома, она не подыскала возражений, только оскорбления, но брань не аргумент — и она и он понимали, что тогда был его верх. Ей оставалось, подумав, раскаяться в своей запальчивости и извиниться. Ни о чем подобном теперь не приходилось и мечтать. Лариса ждет, что явится он. И она, конечно, поставит свои условия примирения — достаточно тяжелые условия, если вообще они исполнимы.

«Умолять не буду, — размышлял Черданцев. — никаких условий не приму. Но надо же нам объясниться, нельзя же так... Ведь любит она меня, это-то я хорошо знаю. Столько было объяснений, столько нежных минут!»

Но если Лариса и любила его, то не той любовью, какая ему воображалась. Она словно забыла прежние объяснения, пережитых нежных минут как не бывало. Она не захотела встретиться для объяснения. Он подстерег ее в коридоре, она быстро прошла мимо. — Лариса, прошу тебя, — сказал он, нагоняя ее и стараясь говорить спокойнее. — Я скоро уезжаю, мы должны перед отъездом поговорить.

— Нам не о чем говорить, — ответила она. — Слова ничего не изменят.

— Но чего же тебе надо? Скажи хоть это: чего ты хочешь?

— Чего я хочу? — переспросила она с горечью. — Ты не догадываешься, чего я хочу? Я хочу невозможного: чтоб ты стал благороден. Теперь тебе ясно, чего я хочу?

Она взялась за ручку, двери в свою лабораторию. Черданцев прислонился к двери, не давая дороги.

— Такова твоя любовь, — сказал он. — К последней бродячей собаке ты относишься лучше, чем к любимому.

— Такова моя любовь, — ответила она. — От любимого мне надо больше, чем от бродячей собаки.

— Лариса, так же нельзя жить!..

— Как-нибудь проживу. Пусти, Борис Семеныч услышит наш разговор и выйдет. Вряд ли тебе доставит удовольствие видеться с ним сейчас.

— Понимаешь ли ты, что это значит? У нас не останется дороги друг к другу, Лариса! Даже тропки не останется, все полетит к черту, пойми!

— Этого ты не понимаешь, а не я. К такому, каким ты оказался, я ни дорог, ни тропок искать не буду. Пусти меня, прошу тебя по-хорошему!

Он возвратился к себе. Шли приготовления к отъезду на завод, надо было хлопотать о приборах, механизмах, реактивах. Черданцев, забыв о предстоящей поездке, метался в своей тесной комнатушке. Все можно пережить, даже непредвиденную обидную неудачу с диссертацией, только не разрыв с Ларисой. Это была уже не неудача, а катастрофа. «Ладно, ладно! — прикрикнул он на себя, садясь у стола. — Недавно ты еще не открывал в себе особенно пылкой любви, когда же она появилась? Ромео был хорош в средневековых городках, в век ракет и атома он смешон. На шарике что-то около полутора миллиардов женщин, неужели тебе мало выбора?» Он снова вскочил и заметался. Не было никаких полутора миллиардов женщин, не было никакого выбора. Была всего одна женщина, одна единственная — та самая, которую он вдруг потерял и к которой не мог найти новой дороги.

Немного успокоившись, Черданцев написал Ларисе письмо — обвинял и оправдывался, ругался и призывал. Лариса не ответила. Тот, каким был, для нее он не существовал, она это высказала достаточно ясно, а другим он стать не мог, да и не хотел становиться другим. Он еще надеялся, что Лариса смягчится, упрямо не верил, что разрыв неизбежен, но ссора с непреодолимой, не зависящей от него силой углублялась, превращаясь в прямой распад отношений.

Тогда, в последние дни перед отъездом, у Черданцева появился странный план — превратить Щетинина из своего судьи в защитника. Сам бы Терентьев не полез в драку из-за того, что кто-то применил его идеи в своих работах. Корень зла несомненно в Щетинине. Если вырвать этот корень, все сразу переменится: прекратится возмутительная шебарша вокруг диссертации, Лариса тоже склонится к примирению. «Чего он хочет от меня? — твердил себе Черданцев. — Расспросить поподробней, чего он от меня добивается? Прямо и честно доругаться, как мужчина с мужчиной!..»

— Очень прошу вас уделить мне полчаса, — сказал он Щетинину. Разговор происходил утром, Черданцев прохаживался в вестибюле, дожидаясь Щетинина. — Я знаю, вы меня недолюбливаете, но берусь судить, правильно или нет. Я хочу разобраться в том, что случилось.

— Разобраться вам надо, — согласился Щетинин. — Путаницы в вашей голове препорядочно. Но, боюсь, сегодня у меня не найдется ни минутки свободной.

— Может быть, после работы? Я согласен ждать хоть до утра, когда вы освободитесь...

— Хорошо, поговорим сегодня, — решил Щетинин. — Во второй половине дня я к вам приду.

Он явился к Черданцеву сразу после обеда. Усевшись на единственный в комнате стул, Щетинин с любопытством огляделся. Он в первый раз был здесь, и ему поправилась обстановка. Это был настоящий маленький заводик, точная калия гидрометаллургического цеха со сложным, разветвляющимся технологическим процессом. «Производство он все же знает», — подумал Щетинин о Черданцеве.

Черданцев сидел на крышке деревянного чана с такой непринужденностью, словно на стуле. Щетинин отмстил и это: с того места, где находился Черданцев, были видны все аппараты и приборы лаборатории. Наоборот, у стола можно было сидеть, лишь повернувшись спиной к комнате.

— Командный пункт, — пошутил Щетинин, указывая на чан. — Видать, освоенная позиция?

— Чаще всего я здесь, — признался Черданцев. — Помощников у меня нет, приходится за всем следить. К столу подхожу изредка — записать параметры процесса и полученные результаты.

— Начнем? — предложил Щетинин. — Как я догадываюсь, вас интересует мое отношение к диссертации, которую вы защищали?

— Ваше отношение ко мне тоже...

— Поговорим и о нем. Итак, какие у вас ко мне претензии? Речей произносить не будем, обойдемся и без дискуссии — просто выясним позиции. Согласны та такой метод?

— Да, конечно.

Черданцев помолчал, собираясь с мыслями. Выяснение позиций на второй фразе превратилось в речь. Он знает все, что сейчас втихомолку творится в стенах начальственных кабинетов. Если завтра диссертацию отменят, а самого его заклеймят позором, он не удивится, он подготовлен к любым неожиданностям. Он скажет больше — не это его огорчает, хоть и тут веселого мало. Но вот то, что ни один старый хрен, пи одна собака какая-нибудь не пролаяла: а давайте, братцы, разберемся, в чем суть, — нет, как это стерпеть? Все, буквально, все в институте вдруг позабыли о содержании его работы, о ее результатах, возможности их практического претворения — одно занимает: что тут точно его, а что он утащил у соседа? Ведь это же мелко и мерзко — ученые забывают науку, их волнует нарушение прав собственности, плевать им на существо идей, важно, у кого в кармане они лежат...

Щетинин вскочил:

— Вы! — крикнул он. — Не забывайтесь!

Черданцев тоже поднялся. Мысль о том, что Щетинин из противника может превратиться в защитника, была безумна, как он мог хоть минуту надеяться на это! Зато теперь он выскажет все, что накипело на душе, он не постесняется, нет!

— Вы, стало быть, боитесь крепких слов? Не ожидал от такого прямого человека!.. О вас в институте слухи, что выражаетесь почище Марковникова, а он, говорят, умел! Что до меня, то даже прошу без сюсюканья, я вынесу любое словцо... В детстве в поселке приходилось всякое слышать — ни разу уши не вяли!

Пока он говорил, Щетинин успокоился. В Черданцеве было что-то новое и любопытное, Щетинин с интересом всматривался в его злое лицо. Грубые словечки Щетинина не пугали — были бы точны и ярки! Щетинина воротило не от грубости, а от нахальства и глупости. Черданцев всегда ему казался человеком наглым и недалеким, даже его уход за внешностью был неприятен, а что до умных речей, то на них он и подавно был не мастак. Но сейчас перед Щетининым стоял разъяренный парень, он был дерзок, но не нахален. И он высказывал острые мысли, неправильные, конечно, мысли, вздорность их не так уж тяжко будет доказать — все равно, собственные, свои, доморощенные мысли, а не штампованные для мелкого употребления речения...

— Слушайте меня не перебивая, — сказал Щетинин. — Расставим сейчас все точки по местам. Да, правильно, в факте изготовления и защиты вами диссертации есть два разных момента. Один, частный и несущественный, — это ее научное содержание, найденные вами мелкие закономерности, рекомендованные крохотные рецептики в технологии... А второй момент всеобщ и беспредельно важен, он составляет истинное существо вашей научной работы. И заключается он в том, что ни до чего по-настоящему серьезного вы не дошли своим умом, достижения, которые вы предъявили на одобрение и хвалу, заимствованы! Как же у вас набирается смелости требовать, чтобы мы забросили единственно важное, вашу несамостоятельность, ради пустяков, каких-то чепуховых фактов и фактиков?

Щетинин наслаждался эффектом. Удар был нанесен в самую душу противника. Черданцев кинется, конечно, подбирать возражения, но слова, сказанные сейчас, будут вечно звучать у него в ушах, от них он уже никогда не уйдет.

Черданцев криво усмехнулся:

— Я очень рад, что вы открыто признаете сутью научной работы собственность на идеи. Если вы выскажете эту мысль публично, будет легче спорить с вами.

Щетинин кивнул головой.

— Пожалуйста, спорьте, если сумеете. Но только спор идет не о собственности на идеи, глупейшую эту формулировку вы придумали, чтоб приписать ее противникам и затем с легкостью с ними расправиться. Собственности на идеи нет, как нет у матери собственности на детей. Дети, подрастая, становятся полноправными членами общества. Следует ли отсюда, что нет материнских прав? Если вашего ребенка уведут, то кинетесь его отбирать, но не по праву собственности, нет, по более высокому праву, которое никем не оспаривается и не может быть оспорено. Нечто подобное действует и в науке. Ученые — это коллектив производителей новых идей, открывателей новых фактов и законов. Как матерью не может быть та, которая не способна родить и воспитать ребенка, так и ученым, исследователем-ученым, творцом, а не начетчиком не может быть неспособный к творчеству человек. Бесплодным делать в науке нечего. Истинная же плодовитость определяется не количеством написанных страниц, но тем новым, что вы внесли в сокровищницу человеческого знания и умения. Вот о чем предмет спора, не нужно этот ясный предмет запутывать ничтожной софистикой. Теперь второе, не менее важное: ученая степень, которой вы добиваетесь. Вы обижаетесь, что никто не говорит о конкретном содержании ваших технологических рецептов, вы видите в этом умаление науки. Послушайте, это смешно и глупо! В степени кандидата химических наук, на которую вы рассчитываете, тоже ни единого слова не будет сказано о конкретных фактах вашей работы. Ученая степень и не может брать на себя такую задачу — описывать найденные всеми кандидатами частности, для этого существуют иные формы — авторские свидетельства на изобретения, статьи, книги. Зато она утверждает, что вы что-то — и немаловажное что-то — нашли свое, она объявляет вас творцом, создателем, ученым по природе и выучке. Женщину называют матерью, не допытываясь, кто у нее, дочь или сын, каков характер и лицо у ребенка, звание матери свидетельствует лишь о том, что она родила, ничего больше. А вы? Способны ли вы рожать в науке, создавать новые научные законы? Допросите себя с пристрастием, действительно ли вы творец, а если да, то какова мера вашей творческой способности, каков вес того, чем вы обогатили науку? Может, все это — одно трудолюбие, а творчество и не ночевало? Но тогда какое у вас право требовать звания творца, то есть той самой ученой степени, о которой идет разговор?

Черданцев вытер платком побледневшее лицо.

— Я жалею, что вызвал вас на разговор, Михаил Денисович, — сказал он. — Простите, что занял ваше время.

— Не жалейте, Черданцев, вы еще не раз вспомните об этом разговоре; он пригодится вам, надеюсь на это.

Щетинин ушел, а Черданцев пересел с чана к столу. До него донесся звонок, в коридоре загомонили голоса уходивших сотрудников, кто-то стукнул, вызывая. Черданцев отвернулся от двери, притворившись, что его нет. Говорить с приятелями, встречаться с знакомыми, просто кланяться и видеть людей было сейчас тяжело. Еще ни разу его так беспощадно не унижали, надо перестрадать унижение, не вынося его на люди.

«Нет, в самом деле, что случилось?» — спросил себя Черданцев. Недавно Лариса с такой же, еще большей страстью нападала на него, он легко отбился. Почему же здесь он лишился дара речи, молча принял все, что вывалил на него Щетинин? Так ли уж тот неопровержимо прав? Да нет же, нет! Что это за ассоциация творцов, какая-то новая аристократия духа? Конечно, без творчества в науке не продвинуться, но и без трудяг многого не нафантазируешь, трудяги так же необходимы в науке, как и на заводе и в колхозе. Да, сказал себе тут же Черданцев, старательные, но не слишком заносящиеся труженики так же нужны, как и творцы, это ты мог спокойно ему возразить. Но не будет ли означать такая твоя защита малоспособных смирненьких работников, что сам ты, не признаваясь открыто, зачисляешь себя в их категорию? Он спрашивал тебя: сам-то ты считаешь себя творцом? Теперь и я тебя спрошу: кто же ты? Создатель нового или подсобник в науке? На что ты по природе своей годишься? Прокладывать пути или перевыполнять не тобой рассчитанные нормы? И то и другое достойно уважения, но это все же разные вещи, согласись! Всякий честный труд почетен, это так, но ты ведь мечтал не о всяком труде, а о больших научных достижениях. Способен ли ты на них? Примиришься ли с тем, что достижений этих не будет? Или ты и впредь собираешься каждую свою новую работу опирать на заемные успехи других, настоящих, как он выразился только что, ученых? Многие, многие шагают в науке такой дорожкой, на них не всегда ополчаются, как ополчился на меня Щетинин, судьба их чаще всего не так уж горестна. По тебе ли этот путь?

В маленькой, чисто прибранной комнате Черданцева яркий свет двух пятисотваттных ламп заливал остановленные аппараты, пустые чаны, выключенные приборы и регуляторы, закрытые шкафы. Черданцев сгорбился у стола, одна мысль тяжелее другой придавливала его. Он вспомнил слова Жигалова о «естественных местах», услышал знакомый скрипучий, неторопливый голос. Кто придумал эту теорию «естественных мест»? Он, кажется, называл Аристотеля? Что же, кое-что дельное в этой старинной теории можно отыскать и сейчас. Раньше спорили о смысле жизни, люди не верили, есть ли содержание в их бытии. Смешно даже подумать о том, что могло быть существование без смысла, без осознанной цели, без порывов, без неудач и взлетов. Но если жизнь теперь полна для всех высокого смысла, то о месте своем в этой осмысленной жизни можно спорить, его надо искать и находить, не всякое место годится для каждого. Тому, кто рожден скрипачом, не надо лезть в математики, а если я люблю слесарничать, то не заставляйте меня рисовать картины! Естественное место в жизни — где оно? Я искал свое место в науке. Может, оно совсем в иной области?

24

Терентьев поднимался по Рождественскому бульвару. Он совершал свою обычную прогулку по городу — «вечерний антижировой кросс», как называл это занятие Щетинин. Дело было, однако, не в моционе. Ежевечерние прогулки являлись потребностью психической, а не физической. Летом, в светлые вечера, Терентьев часто задерживался на работе, а дома усаживался на подоконнике, любуясь раскинувшимся внизу необозримым городам. Ему уже казалось, что тоска по свободно бредущей толпе, томившая его в ссылке, начинает стихать, он понемногу становился нормальным человеком. Осенью чувство это возобновлялось, усиленное и нетерпеливое. К концу рабочего дня, отрываясь от таблиц и графиков, он думал об одном: какой сегодня выбрать маршрут — по бульварам, по Садовому кольцу, по набережной или на одну из двадцати магистралей, выбегавших из центра Москвы в пригороды. «Вы стали рассеянным, Борис Семеныч!» — упрекала Лариса. Он смеялся. Лариса не могла понять, почему его гнало в уличную толкотню, объяснять ей было напрасно. Для нее даже небольшая прогулка быстро превращалась в муку. Осень шла нехорошая, такой плохой осени давно не бывало: лили дожди, душила сырость, налетали пронзительные ветры. Лариса из института, не оглядываясь, спешила к троллейбусу. Терентьев провожал ее до дому, с этого начинались его вечерние скитания. Лариса, прощаясь, говорила:

— Не ходите долго. Вы когда-нибудь простудитесь.

Она сама смеялась над своими словами. Было забавное несоответствие между внешним видом Терентьева и представлением о болезнях. Он, казалось, был срублен на столетие, такому и вправду не страшен ни чох, ни ох. Она протягивала руку, рука попадала где-то в глубине его ладони, Лариса говорила со вздохом:

— Вы невозможно большой, мне порою страшно стоять рядом с вами. Не завидую вашей будущей жене, ей придется несладко, если она вас рассердит.

Он отшучивался:

— Рослые люди добрые, разве вы не знали? Жена будет ездить на мне, как на лошади.

В этот день пролился, видимо, последний дождь в году: он сек ледяными струями, замерзал на листьях и стволах, покрывал землю коркой гололедицы. Под вечер по улицам поехали машины, рассеивая песок, дворники тащили короба с золой. Потом дождь превратился в снег, снег валил все гуще, крепко схватывался с мокрым льдом. Скользя по ледяной корке, Терентьев подвел Ларису к ее парадному. Она сказала с убеждением:

— Сегодня гуляют одни сумасшедшие. Надеюсь, вы не хотите сломать ногу? Мне будет грустно, если вы завтра явитесь на костылях.

— Сегодня иду домой, — пообещал Терентьев. — Буду читать новые журналы.

Домой, однако, было рано. Терентьев хотел потолковать с собою, сделать это проще на ходу, а не сидя за столом. Терентьев с усилием карабкался по льду к Сретенке. Он выбрал эту дорогу, потому что здесь было труднее. Редкие пешеходы скользили и падали. Терентьев тоже падал и смеялся, отряхивая одежду. И падение, и смех, и отряхивание одежды происходили словно не с ним, а с кем-то другим, он наблюдал это как бы со стороны, равнодушно и невнимательно, а сам был погружен в мысли о недавних событиях, в неожиданную сумятицу чувств, вызванную этими событиями.

Он думал о Ларисе, о Щетинине, о Черданцеве.

С Ларисой они встречались ежедневно. Всего несколько минут назад она пожелала ему спокойной ночи, можно было в любое время спросить ее обо всем, она охотно отвечала. Все равно о ней надо думать, она неожиданна. Перемена из девочки в женщину, совершившаяся с ней, с каждым днем поражала все больше. Она была взбалмошной девчонкой, стала странной женщиной — прямой до резкости, откровенной до дерзости. Во всяком случае, еще недавно разговоры, какие Терентьев вел с Ларисой, показались бы ему неудобными. Вскоре после того, как они снова стали работать вместе, он осторожно коснулся ее положения, и оказалось, что Лариса ничего не стыдится и вовсе не боится говорить о беременности.

— Аборта я делать не буду, — сказала она, спокойно и отчетливо произнося это всегда трудное для молодых женщин слово «аборт». — Зачем? Ребенок не виноват, что у его отца мелкая душа. Думаю, ему будет не хуже, чем другим детям. Я сумею воспитать и одна.

Терентьев, помолчав, поинтересовался:

— А мама? Для нее это будет ударом.

Лариса ответила с такой же ясной рассудительностью:

— Не большим, чем для меня. Мама простит, что ей еще остается? Мама моя хорошая! Поплачет и перестанет, чтоб меня не расстраивать. Еще будет утешать, чтоб я не падала духом.

Лариса и раньше говорила о матери с такой же ласковой небрежностью, как о человеке, который ни в чем ей не перечит. Терентьеву эта незнакомая женщина представлялась доброй безвольной старушкой, попавшей в полное подчинение к норовистой дочери.

— Вы ей сказали?..

— Нет. Я скажу, когда пройдут возможные сроки операции, чтоб она не стала уговаривать. — Помолчав, Лариса спросила: — Вы считаете, что я неправа?

— Нет, что вы! Я думаю лишь о том, какую нелегкую ношу вам придется взвалить на себя.

— Миллионы женщин остались после войны одинокими матерями, чем я хуже их? Вы не верите?

— Верю. Я знаю — вы крепкая! И одинокой матерью вы не останетесь. Аркадий постарается помириться.

— Примирение зависит от меня. Он упрашивал еще раз поговорить, прислал письмо.

— Вы не согласились на встречу?

— Нет, разумеется. О чем нам толковать? Жить с человеком, которого не уважаешь, нельзя. Я, во всяком случае, не могу. Я так ему и сказала.

Терентьева смущала беспощадность Ларисы к себе и близким. Жизнь приучила его к покладистости. Он вырос в переходное время — между прописями морали и реальным поведением часто возникал разрыв. Бывали трудные годы и жестокие случаи, когда разрыв становился трагичным. Терентьев в ссылке часто успокаивал себя грустным утешением: «Что поделаешь, мы все навоз для лучшего будущего». Лариса по возрасту была уже из этого лучшего будущего, оно понемногу становилось настоящим. Но в Ларисе было не много из внешних признаков идеального человека, какими они расписывались в книгах: она опаздывала на работу, почти не выступала на собраниях, без охоты «тянула» комсомольские нагрузки — ее не раз пробирали, в стенгазете. Терентьев удивлялся ее равнодушию к газетам. Лариса слушала последние известия по радио, лишь когда передавали сводку погоды. Она признавалась, что безразлична ко всему, на что не может сама воздействовать. «Буду я сердиться или нет, Аденауэр от этого не изменится», — говорила она. По-настоящему Лариса интересовалась лишь тем, во что могла активно вмешаться. Однажды, впрочем, она проявила внимание к международной жизни. В Ливан вторглись интервенты, весь мир бушевал, требуя их ухода; Лариса тоже негодовала на интервентов. Но то, что людям, уставшим от скачки по ухабам жизненного пути, представлялось скучным морализированием, для Ларисы составляло потребность существования. Терентьев поражался. Можно было, конечно, иронизировать: дело, мол, в ее неопытности, заученные догмы разлетятся вдребезги при первом жестоком ударе о жизнь. Лариса, однако, не собиралась приспосабливать свою мораль к ухабам жизни. Она готова была, засучив рукава, творить себе жизнь, как тесто, — по своему пониманию. «Удивительно, нет, удивительно!» — думал Терентьев.

Был момент, когда ему показалось, что странное ее отношение к беременности возникло из желания уязвить Черданцева пожестче. Можно, можно и этим мстить — собственным страданием, своим безвыходным положением. Так мстят очень близким людям, тем, которым ты дорога — она-то знает, что дорога... Ах, какая же это сладкая месть — не делать прямого зла тому, кто тебя обидел, пусть лишь он непрерывно терзается сознанием, что тебе безвыходно плохо и причина этого он! Терентьев успокоился, когда пришла эта мысль. Лариса снова стала понятной: сложной, но но своему естественной. «Приземлить» ее не удалось. Лариса не мстила Аркадию, она просто не хотела его знать. И за что мстить? Она разочаровалась в нем, разочарование не оскорбление. Может, Лариса не желает до конца рвать с Аркадием? Помучает его и вернется. Вот для чего и ребенок нужен — связь, которую не оборвать. Вскоре Терентьев понял, что и это неверно. Никакие объяснения не подходили — только то, что они сама о себе говорила, так было проще и правильной. Простота эта оказалась из тех, что удивительны. Лариса была человеком того же мира, что и Терентьев, но жила в каком-то ином измерении.

Терентьев одолел наконец подъем, пересек шумную Сретенку. По мостовой двигалась колонна снегоочистителей, за ними тянулись самосвалы. Снег валил все гуще, железные щетки взметали его вверх — над колонной кружились снежные вихри, пронзенные прожекторами: неистовый свет словно гонялся за неистовым снегом, снег вспыхивал и осыпался тысячью тысяч ярких огоньков. «Хорошо! — подумал Терентьев. — Просто хорошо!»

Теперь он стоял у грохочущей Кировской. Машина теснила машину, из снега выплескивались длинные рукава света, улица гремела кузовами, шипела шинами, слепила и надвигалась сотнями белых и желтых фар. В ее пляшущий световой туман и гул движения внезапно врывались шум и свет бульвара, и улица замирала: бульвар проносился мимо трамваями, грузовиками, легковушками, на другую сторону улицы торопливо перебегали беспорядочные стайки людей, В одну из таких стаек занесло Терентьева, он тоже бежал вместе со всеми, хотя на другой стороне Кировской его ничего не ждало. В стороне сверкнул неоновыми огнями почтамт, впереди путеводно горела красная буква «М». В общий гам, словно капая в него мелодичным звоном, врезывалось тонкое, чужое всей этой нетерпеливой жизни и потону отчетливо слышное перезвякиванье колоколов: невидная отсюда Меньшикова церковь сзывала своих старушек к вечерне.

Терентьев вышел на Чистые пруды.

Он уселся на скамью, над ним нависали нагруженные снегом тополя, в воздухе носились, не падая, снежинки, их все прибывало. Справа мерно гудела Кировская, из-за крыш высунулась маковка Меньшиковой церкви. Колокола отзвонили свое и замолкли. Терентьев всматривался в летящие снежники, шептал про себя издавна любимые строчки: «Кружатся желтые листы и не хотят коснуться праха. О, неужели это ты, все то же наше чувство страха?» Он читал стихи, чтоб не думать о себе, не испытывать мучившего его стыда.

Недовольство собой не утихало в нем со дня разговора с Жигаловым, подступало к горлу, как отрыжка непереваренной пищи. Терентьев забывал о работе, пытаясь разобраться в себе.

Все дело было в том, что он оказался иным, чем привык думать о себе. Он поразился этому новому, незнакомому человеку, каким оказался. Он не хотел себя такого. Но другого Терентьева, которого он вообразил за долгие годы жизни, попросту не было.

Терентьев вспоминал чувства, с какими слушал доклад Черданцева, — горечь, возмущение, негодование. Они, конечно, были естественными, эти чувства, обычная реакция обиженного человека. Но сейчас ему казалось, что в них обычность мелочности, та естественность, которой естественны пыль и дурные запахи. С какой-то иной, только открывающейся Терентьеву точки зрения все эти испытанные им чувства представлялись некрасивыми, чуть ли не постыдными. Он хотел додумать это новое понимание до конца. Он шаг за шагом уходил все дальше, возврата к старому не было, новое упорно не определялось.

«Надо решить: как? — думал Терентьев, рассеянно рассматривая нарядную колокольню Меньшиковой церкви, следя за детишками, лепившими снежную бабу, прислушиваясь к гулу машин, доносившемуся от. Кировской. — Надо, надо окончательно все решить!»

Он шумно вздохнул, сдунул с воротника и с груди насевший снег, снова нетерпеливо и сумрачно размышлял. Теперь уж он но остановится на полдороге, за мыслями последуют действия, мысль без действия — пустота. Лавочники — так я подумал о себе и Щетинине. Да как я посмел? Послушай, я прав — не во всем, конечно, не во всем, словцо это придумалось сгоряча, — во многом прав... Черт знает что такое, на подходе к коммунизму, не в темную древность, мы, ученые, цвет общества, иногда превращаемся чуть ли не в каких-то хозяйчиков, возделывателей личных научных огородов, где за высокими стенами, охраняемая от посягательств со стороны, выращивается наша продукция — эксперименты, исследования, статьи. Любой наш институт — это же собрание кустарей, каждый до поры скрывает находки от соседей — научный секрет. А ведь наука не только предназначена для всех, как общее благо, но и немыслима без усилий всего общества; ее фундамент, ее исходный материал — механизмы, моторы, приборы, здания, коллективы рабочих и техников, энергия, химикаты... Наука индустриализуется, давно уже стало трюизмом говорить об этом. «В науке надо творить!» — твердит Михаил. Правильно, твори, но не превращай науку чуть ли не в свое личное хозяйство, в ней не один лишь твой труд! А если ты опять обвинишь меня в уравниловке, закричишь, что я отказываюсь от платы за работу, награды за успех, я скажу тебе снова: к черту уравниловку! Награждай мою особую роль в научных разработках званиями и степенями, зарплатой и орденами — я счастлив твоей высокой оценкой, я благодарен. Но не превращай награду в цель моего существования и труда; это стимул, согласен, но не цель, такой цели я не хочу, я не буду творить ради подобной цели, нет, мне нужна более высокая высота!

Да, творчество индивидуально — и тут прав Михаил, — но сотрудничество, но помощь товарищу — ученому, они всеобщи, они действуют в науке, как и на фабрике, как и в колхозе. Без сотрудничества само творчество скоро станет немыслимо, а мы забываем это, порою даже и не догадываемся. Дорогой Евгений Алексеевич, я честно взгляну вам в глаза, вы меня одобрите, знаю!

Терентьев встал со скамейки и пошел по аллее. Он чувствовал удивительное широкое спокойствие, в спокойствии этом, словно редкие кустики на необозримой песчаной равнине, сразу потерялись мучившие его мелкие тревоги и горести. Впереди лежал ясный путь, но нему надо было шагать не оглядываясь, шагать до конца — за край горизонта. Впервые за много дней Терентьеву было по-настоящему легко.

Он опять возвратился к Трубной площади, свернул на Цветной, вышел на Самотеку. В пустынных аллеях кружился снег. Терентьев некоторое время топтался под деревьями, потом пропетлял Ямскими на улицу Горького, с наслаждением окунулся в шумный людской поток. По мостовой мчались машины, нескончаемые машины. Улица пламенела, звенела, грохотала, толкалась, вздымалась ввысь — сверкающее ущелье величественных домов. На площади Белорусского вокзала Терентьев остановился и осмотрелся. Вдаль уходил Ленинградский проспект, в сторону разбегались Лесная улица и Бутырский вал, Грузины и пресненские улочки, позади переливалась огнями главная магистраль. У Терентьева захватило дух: до того был прекрасен этот огромный, заснеженный, грохочущий и сияющий город!

25

На другой день, при встрече, Терентьев сказал Щетинину:

— Надо посоветоваться с тобою, Михаил.

— Идем ко мне, — предложил Щетинин. — Там никто не помешает.

У Щетинина, как и у других ведущих докторов института, был отдельный кабинет с дверью в лабораторию, где работало человек десять техников и инженеров. Он усадил Терентьева в кресло и на минуту вышел к своим сотрудникам.

— Так чего ты надумал? — спросил он, возвращаясь.

— А ты предполагаешь, что я чего-то надумываю? — полюбопытствовал Терентьев.

— Предполагаю — не то слово, — поправил Щетинин. — Не сомневаюсь, так будет точнее. Тебя, вероятно, интересует, почему я не сомневаюсь?

— Конечно. Ты стал неожиданно догадливым.

— Догадаться не трудно, раз человек ходит с такой мрачной физиономией, словно настраивает себя на какие-то отчаянно-смелые решения. Уж не собираешься ли ты бросить институт?

— Точно! На время, разумеется.

Терентьев говорил уверенно, зная, что если смысл его решения и возмутит друга, то тон обескуражит. В последние дни он много думал о диссертации Черданцева. Именно на таких высококонцентрированных, запутанных по составу смесях надо проворить правильность или, точнее, практичность теории Терентьева. Лучшая из всех проверок — само заводское производство. Короче, пришло время Терентьеву двинуться в цех и там окончательно установить, какова истинная ценность его теоретических находок.

Щетинин недоверчиво усмехнулся. Против обыкновения он не кинулся немедленно в спор, не стал в возбуждении бегать по комнате. Терентьева задела его холодность. После вспышки в коридоре перед кабинетом Жигалова они помирились, но какая-то отчужденность сохранялась. Терентьев не столько хотел посоветоваться, сколько стереть эту отчужденность.

— И еще одно мучит меня, — сказал он. — Мы, как сурки, укрылись в своих норках. Дух коллективизма как-то не очень у нас развит.

— И ради развития недостающего нам духа коллективизма ты и спешишь на выручку Черданцева? — холодно уточнил Щетинин. — Этакая научная Гаганова, так, что ли? С точки зрения общих лозунгов похвально.

— А по существу?

— По существу нашей специальной работы неразумно.

— Почему же, Михаил? Помнишь, как выразился Жигалов: «Вам бы туда поехать, да разве вы поедете?» Мне было неприятно слушать... Работа эта нужная, а без моей помощи до конца ее не довести — вот что я знаю!

Раздражение Щетинина наконец прорвалось: — О Жигалове брось! В нем говорила его должность, а не он сам. Понимаешь разницу? По должности он ратует за производство, а по душе начхать ему на производство! Каждый месяц кто-нибудь из наших ученых командируется на заводы, а сам он еще ни разу туда не выбирался. За Жигалова думает его кресло, вовсе не собственная голова!

Терентьев знал, что Щетинин не уважает своего начальника. О Жигалове он без насмешки или возмущения не разговаривал. Даже в том, что директор института старается попасть в ногу с временем, Щетинин находил поводы для сарказма. Терентьеву думалось, что сам он разбирается в природе Жигалова глубже, чем пристрастный к друзьям и недругам Щетинин. Все понемногу менялось в стране. Жигалов тоже менялся. Он долго с недоверием присматривался к новой обстановке, втайне надеясь, что все это — лишь поветрие, а не глубинный закон развития. Поняв свою ошибку, Жигалов энергично наверстывал упущенное, ему приходилось труднее, чем другим, — груз с плеч сбрасывается просто, старье из души надо выдирать. У Терентьева не было причин жаловаться, что Жигалов в последние месяцы относится к нему плохо. Щетинин продолжал:

— Короче, фразы насчет проверок теории в цехе отставим! Между прочим, хочешь верь, хочешь не верь, но я опасался, что думаешь ты в эти дни как раз об этом...

— Повторяю, ты стал необыкновенно догадлив.

— Боюсь, это происходит оттого, что интересы науки мне дороже, чем тебе. Знаешь главный свой недостаток? Ты не умеешь разграничивать объективные научные явления и толкущихся около них людей.

— Ты берешься это доказать? То есть то, что интересы науки значат для меня меньше, чем для тебя?

— Разумеется! Доказательство мое будет таким. Интересы науки состоят в том, чтоб ты ни на что не отвлекался, кроме своих исследований; я это вдалбливаю в тебя много раз, повторю и сейчас. Но отговаривать тебя бесполезно: ты упрям как столб. Мне остается одно — ехать с тобою, чтоб не дать тебе там запутаться на месяцы во всевозможных цеховых неурядицах.

— Ты это серьезно, Михаил?

— Нет, если ты пошутил. Да, если ты сам серьезно...

Терентьев, растроганный, протянул руку Щетинину, тот сердито отмахнулся от нее. Трудно было придумать что-либо, менее сейчас подходящее Щетинину, чем эта поездка. У него шли к концу давно начатые собственные исследования, их надо было сводить в систему, садиться за отчет по темам — работу эту ни на кого не переложить. Но когда Терентьев стал подыскивать возражения, Щетинин прервал его:

— Чепуха! Если кому и ехать на завод, так мне, я разбираюсь в производстве больше твоего. Ты, как котенок, будешь тыкаться во все углы, путать важное с несущественным. Не спорь, одного не пущу.

Помолчав, Щетинин сказал с досадой:

— Одно неприятно, только здесь уж ничего не поправить. Я в свое время отверг тему Черданцева как маловажную. Он вправе теперь заподозрить... Шут с ним, пусть думает что хочет. Ларису с собой возьмешь? Вряд ли она захочет поехать, насколько разбираюсь в ее характере.

— Поговорю с ней, во всяком случае.

В комнате у Терентьева теперь появились новые люди: лаборантка Таня, приданная в помощь Ларисе, и монтер Михаил Прокофьевич, собиравший установку для автоматического анализа проб. Прежние вольные беседы с Ларисой во время работы стали невозможны. Улучив минутку, Терентьев сказал:

— Мне надо с вами потолковать. Может, задержимся немного после звонка?

Она подняла на него усталые глаза. У нее был больной вид. Она покачала головой:

— Я мечтаю лишь о там, чтоб скорей добраться до своей комнаты.

— Дело в том, что я уезжаю и, возможно, надолго, — сказал Терентьев.

— Пойдемте ко мне домой, — предложила Лариса, — Вы еще ни разу не бывали у меня, надо же вам познакомиться с мамой. Я столько говорила о вас, что вы заочно стали ей очень знакомым.

Терентьев согласился с неохотой. Лариса уже не раз приглашала его к себе, когда он провожал ее до дому, он всегда отказывался. Он не любил ходить в гости. Его угнетала даже мысль о торжественном чаепитии под настороженным взором добрых, но бдительных старушек. В ресторане и столовой он чувствовал себя свободней, чем на семейных ужинах. В доме Ларисы, видимо, не раз бывал и Черданцев: завтрашних мужей перед свадьбой принято знакомить с родными. Мать Ларисы, конечно, знает о ссоре дочери с женихом, знает и о том, что косвенно в ссоре виновен Терентьев, вряд ли она обрадуется ему...

Погруженная в свои мысли и ощущения, Лариса не заметила ни его колебаний, ни сомнений.

Дверь им открыла невысокая, красивая, изящно одетая женщина лет сорока. Она поцеловала Ларису в щеку, сердечно встряхнула руку Терентьеву. Он посмотрел на внутреннюю дверь, ожидая, что сейчас появится мать Ларисы.

Лариса громко рассмеялась:

— Борис Семеныч, это же моя мама! Неужели вы не узнали ее по моим описаниям? Мамочка, вот так всегда при встрече с тобой — люди теряются и не верят своим глазам. Ты поражаешь с первого взгляда!

Терентьев смущенно пробормотал извинения. Ольга Михайловна, мать Ларисы, ничем не напоминала доброй, хлопотливой, отзывчивой старушки, во все вмешивающейся и все путающей, как он привык воображать ее по рассказам Ларисы. Лариса наслаждалась эффектом. Ольга Михайловна насмешливо и ласково улыбнулась.

— А вот вас, Борис Семеныч, я узнала бы на улице, даже без знакомства: Лариса описывала вас очень точно. Проходите в комнату, что же мы стоим в прихожей?

Терентьев боком прошел в узенькую дверь, открывавшуюся лишь наполовину, и с осторожностью уселся на старенький диван. Комната у матери с дочерью была большая, метров на двадцать пять, но заполненная вещами. Для людей оставались лишь узенькие проходы и закоулочки между шкафами, диваном, столом, кроватью, этажерками с книгами и креслами. Даже стен не было видно: их увешивали ковры и коврики, картины и фотографии. С потолка низко спускалась люстра с большим оранжевым абажуром; Терентьев обошел ее, чтоб не толкнуть головою. В одном из кресел дремал огромный взъерошенный кот с седыми бакенбардами. Он неприязненно приоткрыл на Терентьева один глаз и снова сомкнул его, величественно игнорируя гостя. Кот, похоже, был истинным хозяином в этой комнате.

— Ольга Михайловна, помочь? — предложил. Терентьев матери Ларисы, хлопотавшей у стола.

Она с улыбкой посмотрела на него и покачала головой. Терентьев все больше досадовал на себя, что согласился прийти. Его приходу неожиданно придали особое значение, которого не существовало в реальности. Особость подчеркивалась бутылкой дорогого вина, возвышавшейся посередине стола. Бутылка высокомерно сверкала медалями на этикетке, словно бы говоря: «Ну что же, за встречу, будем здоровы, не возражаю!» Больше же всего смущала Терентьева Ольга Михайловна. Было неожиданно и чем-то даже неприятно, что эта женщина, врач по специальности, красива, быстра и остроумна, как вскоре обнаружил Терентьев. Ему казалось, что весь ее вид, каждое движение и слово полны скрытого, насмешливого укора: «Вы, значит, дожив до седины, за дочкой моей надумали ухаживать? Сочувствую, сочувствую!»

— Итак, к столу! — предложила Ольга Михайловна, садясь первая. — Надеюсь, вы не трезвенник, Борис Семенович? Лариса не переносит трезвенников.

— А пьяниц пуще! — добавила Лариса.

Ольга Михайловна лукаво покосилась на дочь. Терентьев сидел так, что прямо в него упирался тяжелым умным взглядом бородатый мужчина с фотографии в рамке.

— Это мой муж, — сказала Ольга Михайловна. — Отец Ларисы. Погиб в Венгрии в апреле сорок пятого. С той поры мы с Ларочкой одни.

— А почему? — спросил вдруг Терентьев. Лариса удивленно взглянула на него. Терентьев пробормотал, оправдываясь: — Я хочу сказать, вы так хорошо выглядите... Вы, конечно, могли бы устроить жизнь по-иному.

— Об этом надо спрашивать не меня, а Ларису, — ответила Ольга Михайловна, засмеявшись. — Моя судьба всегда была полностью в ее руках. Надеюсь, вы уже знакомы с ее характером. Лариса — рабовладелец. Такого бессердечного человека, как она, трудно и вообразить. Она отвергала всех женихов, которые иногда мне попадались.

— Правильно, — подтвердила Лариса. — Ни один твой жених не стоил тебя.

— Она говорила по телефону: «Мамы нет», — даже если я бывала дома, когда слышала, что звонит мужчина, — продолжала Ольга Михайловна. — Заведующему нашей больницей, вызывавшему меня на срочную операцию, она отрезала: «Не звоните больше, маме надоели ваши ухаживания!»

— Но в прошлом году я разрешила тебе распоряжаться собой свободно, — сказала Лариса.

— Да, когда увидела, что у меня полностью утрачен вкус к свободе!

Мать и дочь смеялись так весело, что и Терентьеву приходилось улыбаться, хотя ему было не смешно. Он еще не встречал двух женщин, так влюбленных друг в друга, как эти. В каждом их слове и шутке, взгляде и жесте проступало такое взаимное уважение и приязнь, такая гордость друг другом, словно они были нежные подруги, а не мать и дочь. Терентьев видел, что они счастливы оттого, что сидят рядом и могут обмениваться шутками и улыбками, любой посторонний лишь мешал этому их радостному взаимному общению. Терентьев чувствовал себя все более неудобно.

Он мало говорил и, чтобы не привлекать внимания своей молчаливостью, много ел и пил. Ольга Михайловна подливала в его рюмку вина, подкладывала в тарелку еды. Она успевала занимать гостя, отшучиваться от дочери, приносить с кухни очередную порцию еды, сама с охотой ела и пила. Терентьев постепенно открывал в ней давно известные по рассказам Ларисы черты, она с каждой новой минутой сближалась с описанием дочери. Но это была схожесть не внешняя, а глубинная. Лариса точно обрисовала характер и ум матери, она, видимо, больше всего и любила в матери ее ум и характер, а обо всем остальном — внешности, годах — отзывалась небрежно и снисходительно: «Старушка моя! Что с нее возьмешь?»

И, по привычке обобщать каждую частную свою мысль, Терентьев, прислушиваясь к беседе женщин и сам изредка вставляя в нее словечко-два, размышлял о том, что Щетинин, пожалуй, прав: он, Терентьев, плохо разбирается в людях. Насколько он старается быть дотошным в исследовании научных явлений, настолько же поверхностен в понимании людей. В людях он видит лишь то, что в них видится, на большее его не хватает. Человек безмерно сложнее самого сложного химического раствора, — к раствору он подходил как к чему-то запутанному и многообразному, пытался распутать запутанное, выяснить линии многообразного, здесь, именно здесь были истоки его научного успеха! Может, причина его провалов в обращения с людьми, неудач в дружбе с Ларисой была в том, что тут все оказалось простым? Он говорил себе, досадуя: «Не надо усложнять отношения!» Не означало ли это: «Не надо понимать, обойдусь без понимания!»?

После чая Ольга Михайловна стала одеваться.

— Поскольку Ларочка недавно сделала меня вольноотпущенницей, я иногда выбираюсь в кино, — сказала она Терентьеву. — Сегодня у нас коллективный выход на новинку. — Она ушла.

Терентьев пересел на диван. Кот тоже сменил свое место в кресле на уголок дивана. Терентьев постарался его не беспокоить, но кот потянулся, выгнул спину и заворчал по-собачьи — низким, свирепым голосом. Лариса села рядом с Терентьевым и взяла кота на руки. Он успокоился и закрыл глаза.

— Его зовут Амонасро, — сказала Лариса... — Правда, он похож на Амонасро из «Аиды».

Терентьев не находил, что любовь к музыке должна простираться так далеко, чтоб котов называть именами из опер.

— Он скорее Сидор! Я бы назвал его Сидором.

— Сами вы Сидор! Он Амонасро. Он зол, коварен и свободолюбив, как Амонасро.

— Сидор! — настаивал Терентьев. — Он хозяйствен, степенен и неповоротлив, как все Сидоры!

Лариса швырнула кота в кресло. Амонасро, раскинув лапы, тяжело пролетел по воздуху и шлепнулся на сиденье. Он сверкнул зловещими желтыми глазами и заворчал тем же собачьим голосом.

— О чем вы хотели со мной говорить, Борис Семеныч? — оказала Лариса. — Куда вы собрались?

Но Терентьев не мог начать. Недавние мысли о сложности человеческих отношений путали его. Он не знал, что скрывается за спокойной внешностью Ларисы. Возможно, она уже все знает о его намерениях.

Лариса с удивлением поглядела на Терентьева.

— Что с вами?

— Со мной? Со мной, в общем, ничего! Знаете, куда я еду? На завод к Аркадию. Как вы относитесь к этому?

Лариса сперва вспыхнула, потом побледнела. Кровь медленно отливала от ее щек. Терентьев взял ее руку, она не отняла. Когда Лариса заговорила, голос ее был спокоен.

— Вы собираетесь взять меня с собою?

— Если вы соглашаетесь...

— Я не хочу видеть Аркадия.

— Тогда вы останетесь, а я поеду с Михаилом Денисовичем.

— Он тоже едет?

Терентьев стал рассказывать, как он пришел к мысли, что без поездки на завод не обойтись, Лариса прервала его:

— Между прочим, я знала, куда вы надумали... Вы предложили потолковать о поездке, я сразу догадалась, что за поездка. А сейчас, услышав об этом, вдруг испугалась...

Терентьев печально усмехнулся. Он и здесь за внешностью не разглядел сути. Сути его действий тоже никто не понимает. Щетинин недавно доказывал то же, что и Лариса: они ожидали от него подобного поступка, словно иначе он не мог. И бесполезно им толковать, что, сложись обстановка хоть немного по-иному, просто не найди он времени на обдумывание всех «за» и «против», никуда бы он не поехал, а занимался по-прежнему теоретическими расчетами и анализами экспериментов. Вот так и идет его жизнь — по тропкам и боковушкам, шарахается из стороны в сторону, кривит, а им представляется, будто он стремится все в одну сторону, прямолинейный, как пика.

— Лариса, можно с вами откровенно?

— А разве мы и так не откровенны?

— Мне придется каждый день видеться с Аркадием. Я не знаю, о чем вдруг пойдут у нас разговоры... Вы не переменили своих решений?

Терентьев знал, что на прямой вопрос Лариса ответит с такою же прямотой. Он уже привык, что с ней не надо недомолвок и осторожничанья. Но его поразило, что она даже не задумалась. Она заговорила сразу, словно ожидала этого вопроса и имела на него давно продуманный ответ:

— Нет, не переменила. Я не уважаю его: он совершил подлость. Я думаю об этом днем и ночью, каждую свободную минутку. Я убеждала себя: он больше таким не будет, он исправится... Меня это тоже не устраивает. Жить с человеком, о котором знаешь, что он порядочен по принуждению, а не по натуре, честен лишь потому, что за нечестность наказывают... Нет, нет, такая любовь не для меня! Вы не согласны со мною?

Терентьев промолчал.

— Почему вы молчите, Борис Семеныч?

— Нет, так, Лариса... Думаю: какого же человека вы смогли бы полюбить?

— Вы не гадайте, а просто спросите меня. Я хорошо знаю, кого могу полюбить, Я полюблю только такого, которым смогу гордиться. Мне неважно, будет ли он красив, молод... Но он должен быть честным, очень честным, другого мне не надо! Честным и умным — вот кого я выберу!

И снова она говорила рассудочно и спокойно, с той же пугающей простотой. Теперь ей оставалось задать последний вопрос — все станет окончательно ясно. Вопрос был до того труден, что у Терентьева пересохло в горле. Он прокашлялся.

— Значит ли это, что сам я?.. Вы понимаете меня?

— Да, конечно, — ответила она. — Вы хотите знать, думала ли я о вас как о своем будущем муже? Да, думала и не раз — после той прогулки, помните?..

— А сейчас, Лариса?

— Не обижайтесь, я ничего не стану от вас скрывать. Я знаю, вы были бы настоящим отцом моему ребенку... Но так я не могу — из рук в руки... Я разорвала с Аркадием, я должна его забыть! Если бы вы знали, Борис Семеныч, насколько легче разорвать, чем забыть! Но я его забуду, я должна его забыть! У меня ведь нет другого выхода, правда?

Ода ласково и грустно взглянула ему в глаза, положила руку ему на плечо. Он в смятении отстранился и от руки и от взгляда.

— Мне надо идти. Нет, вы все же странная, вы очень странная, Ларочка!

— Это хорошо или плохо?

— Не знаю. Вы все равно не переменитесь, даже если это плохо. Оставайтесь уж такой, какая вы есть, всегда такой, как есть, Ларочка!

26

Черданцев встретил их на вокзале. Терентьев знал, что Черданцеву на заводе досталось, но не ожидал, что тот так переменится. Он похудел, был небрит, неопрятен — на пиджаке сидели пятна, еще хуже выглядели брюки. Он походил на рабочего из грязного цеха, а не на элегантного научного сотрудника, каким всегда ходил в институте.

— Как дела? — закричал Щетинин еще до того, как Черданцев подошел к ним.

— Дела ничего! — ответил Черданцев. — Крутятся потихоньку. С вашим приездом, конечно, пойдет быстрее. Директор завода чуть в пляс не пустился, когда узнал, кто к нам приезжает.

Щетинин строго оглядел его, стараясь не замечать иронии.

— Дела не столько крутятся, сколько пачкаются. Вы что-то опустились, Аркадий; даже не ожидал, что увижу вас таким.

Черданцев сдержанно улыбнулся.

— Посмотрим на вас через недельку! Крутом щелочи, кислота, пульпа — все пачкает и разъедает, не успеваешь руки отмывать, чтоб не съело кожу. Ходим в спецовках, но это помогает слабо... — Он осматривал свой костюм, словно лишь сейчас увидел его. — Надо было, пожалуй, почиститься. Я как-то здесь, по старой памяти, мало обращаю внимания на одежду.

Терентьев немного помедлил, прежде чем подойти к Черданцеву. Они не виделись со дня защиты. Терентьев в поезде обдумывал, как ему держаться. Лучше всего было бы запросто протянуть руку, поинтересоваться, как дела. Еще до того, как они поздоровались, Терентьев понял, что Черданцев не примет такого обращения. Черданцев был сдержан и сух — скользнул быстрым взглядом по лицу Терентьева, сразу же отвернулся и пошел вперед, указывая дорогу.

Около вокзала стояла старенькая «Победа», надо было проехать еще километров тридцать. Терентьев сел спереди, позади разместились Щетинин с Черданцевым. Машина покатила по грейдерной дороге, оставляя за собой стену едкой пыли. Во все стороны простиралась каменистая, выжженная солнцем пустыня — унылый и скудный мир предгорий. Горы белыми гребнями подпирали горизонт, до них было километров двести. Небо опрокинулось шайкой над головой, облачная пена стекала за край земли. Изредка в этой пене показывалось солнце, оно тоже было словно намыленное — тускло светило, чуть грело. Даже травы пахли распаренными березовыми вениками. Шла южная непонятная зима — ни жара, аи холод, ни дождь, ни вёдро, — пора сквозняков и сумерек.

Черданцев рассказывал, как получилось с внедрением разработанных им новых процессов и схем переработки. Руды здесь крайне сложного состава, материал, поступающий в гидрометаллургический цех, день ото дня меняется, единого рецепта не подберешь. Производственники стараются соблюдать предписанные режимы, что не всегда удается. От этого эффект новых схем снижается.

— Надо воздействовать на цеховиков! — сказал Щетинин. — Как у вас личные взаимоотношения с работниками завода? При подобных испытаниях важно ощущать дружескую поддержку.

Личные отношения у Черданцева сложились хорошо со всеми работниками завода. Правда, он поселился на квартире начальника очистного цеха Пономаренко, а Пономаренко не в ладах со Спиридоновым, начальником смежного — электролизного цеха. Соседи, квартиры — дверь против двери, но встретятся на лестнице — никогда один другому не поклонится. Спиридонов попенял Черданцеву, что тот предпочел Пономаренко, но дальше упреков не пошло, в поддержке своей он не отказывает. То же можно сказать и о Пономаренко: человек он вспыльчивый и недобрый, но науку ценит, все старается сделать, о чем попросишь.

— Сколько я ни посещал учреждений и предприятий, везде одно и то же, — обратился Щетинин к задумавшемуся Терентьеву. — Обязательно кто-нибудь кому-нибудь на ногу наступает. Удивительный народ — люди: не берет их мир.

Черданцев подтвердил, что ссор на заводе много, без стычек трудно вести производство. Он говорил вежливо и спокойно. Когда на него не смотрели, лицо его становилось замкнутым и постаревшим. «Нелегко ему здесь, — думал Терентьев, — очень нелегко. И, вероятно, еще обидно, что мы явились с непрошеной помощью».

— Вы упомянули, что не обращаете внимания на одежду по старой памяти? — спросил Терентьев. — Как это надо понимать — «по старой памяти»?

— Да ведь я вырос на этом заводе. Мать у меня скончалась еще до войны, жили вдвоем с отцом в поселке с первого дня строительства; батя трудился каменщиком, потом выучился на очистника. Здесь же он и помер в сорок девятом. Меня тут всякая собака знает.

Это был в конце концов пустяк, но Терентьев почему-то все возвращался мыслью к тому, что Черданцев здесь свой. Видимо, и Щетинин думал об этом. Он сказал Терентьеву, когда шофер вдруг затормозил на ухабистой дороге и вместе с Черданцевым вышел посмотреть, не спустили ли шины:

— Не удивительно, что заводской технолог так поддерживал его на защите, помнишь? Специально командировали человека в Москву.

Вскоре показался поселок — оазис в унылой пустыне. Но это был оазис из камня, а не из зелени. Три параллельные длинные улицы пересекались коротенькими переулочками. На улицах были хорошо замощенные мостовые и асфальтированные тротуары, в переулочках росла скудная трава, и каждый порыв ветра вздымал серые пылевые облака. Улицы были обсажены акацией и шелковицей — чахлые деревца, скрипевшие жестяным скрипом и покрытые все той же серой пылью. Их, похоже, садили каждую весну заново, лето они кое-как тянули, постепенно увядая, а к зиме полностью погибали. Терентьеву не раз приходилось видеть в районных городках такие заброшенные деревья, не аллеи, не скверы, не парки, просто «зеленые насаждения», как их именовали в отчетах и разговорах.

— Интересно, что тут делается во время дождя? — ворчал Щетинин. — В переулок и нос не высунуть: утопнешь.

— Дожди у нас редкость, — объяснил Черданцев. — А почва — песок, вода не застаивается.

Они шли по центральной из трех улиц. Два ряда чистеньких трехэтажных, неразличимо одинаковых домов с бетонными оградами палисадничков вели на площадь, где поднималось внушительное пятиэтажное здание. В палисадничках ничего не росло, кроме бурьяна: воды, по словам Черданцева, еле-еле хватало на бытовые нужды, не до садов и огородов.

Пятиэтажное здание оказалась заводоуправлением. Черданцев предложил зайти в технический отдел, к плановикам, в бухгалтерию. Директора и главного инженера вчера вызвали в город, совещание с ними придется провести дня через два, но с техническими работниками можно и сейчас поговорить. Терентьев идти в заводоуправление отказался. От площади, через несколько домов, начинался пустырь, пересеченный асфальтированными шоссе, веером сходящимися к поселку. За пустырем поднимался завод. Терентьев не мог оторвать от него взгляда. Он первый раз в жизни был на металлургическом предприятии.

В университете производство его не интересовало, да и не было возможности с ним познакомиться: практика осваивалась в лабораториях. А потом пошли скитания по глухим углам, где самым крупным предприятием значились ремонтные мастерские в леспромхозах. Немаловажной причиной, толкнувшей Терентьева в дальнюю поездку, была и эта — побывать наконец, на большом современном заводе.

В стороне дымили светлым дымком две высоченные, метров на полтораста, кирпичные трубы, за ними правильными рядами стояло одно производственное здание за другим — плавильный цех, рудный двор, агломерационная, гидрометаллургические цехи — очистной и электролизный. Еще подальше, замкнутый в свой компактный мирок, вздымался комплекс строений ТЭЦ — мельницы, котельная, машинный зал, три трубы пониже цеховых, курившиеся густо и напряженно. Вся площадка промышленных сооружений была затянута дымом; особенно много его клубилось над плавильным цехом, тот весь был словно прикрыт шапкой синего тумана.

Щетинин протянул руку к заводу.

— Когда ветерок в эту сторону, в поселке, очевидно, несладко?

— Поселок построен с подветренной стороны, — ответил Черданцев. — Основные воздушные потоки устремляются с гор в долину. Но иногда задувает и к нам, радости тогда немного.

— Пройдемся по цехам, — решил Щетинин. — Кстати, где будем жить?

— Приезжих обычно размещают на квартирах местных работников, потому что гостиница у нас неважная. Вас соглашается взять Спиридонов. У него три комнаты, одну отдадут вам.

— Это начальник электролизного цеха? Заклятый враг вашего хозяина Пономаренко?

— Он самый. Только почему заклятый? Не дружат — это верно.

Осмотр завода Черданцев начал с рудного двора. В гигантских бункерах этого каменного сарая легко могли уместиться двухэтажные дома. Бункера были доверху полны золотистой рудой, доставленной с гор. К рудному двору примыкала агломерационная, за ней тянулся самый обширный из заводских цехов — плавильный. Здесь стояла отражательная печь — внушительное здание в здании. Над ней с трамвайными звонками проплывали мостовые краны, у окон суетились печевые. Воздух около печи был удушлив и жарок, в нос бил сернистый газ. В стороне от отражательной печи, вдоль стены цеха, вытянулась цепочка исполинских бочек — конверторов, в которых из расплава, содержавшего много ценных металлов, выжигалось железо. В конверторах гремел сжатый воздух, газа около них было еще больше. Щетинин раскашлялся и поспешно отошел. Кашель мучил его все время, пока он находился в цеху, долго не оставлял и за воротами цеха.

— А говорят, грешники проводят вечность у серных котлов, — сипел он. — Черта с два выдержишь вечность в подобной атмосфере!

— К сернистому газу привыкают, — заметил Черданцев. — В очистном отделении у нас хлор, это похуже.

Очистной цех казался прибранным и тихим в сравнении с дымным, грязным и грохочущим плавильным. Это тоже было обширное здание, метров двести в длину. Половину его заполняли огромные баки высотою в восемь метров — чаны Пачука, или пачуки, как их называют на заводах. В пачуках бурлила продуваемая воздухом смесь из растворенных и выпавших в осадок металлов. Это были те самые высококонцентрированные растворы, для которых Терентьев создавал свою теорию. Он ходил по дощатому настилу, отодвигал доски, прикрывавшие отверстия чанов, всматривался в их темную глубину. Рабочие временами поворачивали вентили на трубах — в пачуки вливались реагенты, кипение в них усиливалось, сквозь доски крышек поднимались едкие, перехватывающие горло испарения. Мощные вентиляторы гудели, нагнетая свежий воздух, отсасывая испорченный; уже через две-три минуты после выброса газов от них не оставалось и следа. Но эти три минуты были непереносимы. Терентьев глотнул ядовитый воздух и отскочил: горло его обожгло, словно спиртом. Почти у всех рабочих в этом цехе лица были серовато-бледны.

— Каждому здесь выдается усиленное питание, — сказал Черданцев. — И зарплата, конечно, повышенная, отпуск подлиннее. Только газ есть газ — жира с ним не наживешь. Между прочим, я тоже тут работал, на этих пачуках.

Не лучше, чем у чанов, было возле фильтров, занявших другую половину цеха. В бочкообразных аппаратах смеси, поступавшие из чанов, освобождались от осадков, дальше очищенный раствор уходил по трубам в электролизный цех. Из всех пор фильтров сочился удушливый газ, а когда их открывали, он вздымался облаком. Щетинин качал головою: по всему было видно, что процесс идет с перерасходом реагентов и энергии. Не обращая внимания на газ, Щетинин стал заносить в блокнот замеченные неполадки.

— Пойдемте к Пономаренко, — предложил Черданцев, когда Щетинин покончил с записями.

Пономаренко принял их в конторке, битком набитой работниками цеха. Народ здесь был «переменный», как объяснил Черданцев: кто входил, кто выходил, кто в изнеможении разваливался на диване, чинности заседания не чувствовалось, хотя Терентьеву показалось, что они попали на заседание. Пономаренко, высокий, со злыми глазами и нервно подергивающимся уголком рта, поднялся навстречу, пожал руки и обратился снова к своим делам. По всему было видно, что это человек желчный.

— Да вы с ума сошли! — орал он на мастера. — Качаете Спиридонову раствор с такой концентрацией железа! Вы что, Спиридонова не знаете? Чтоб больше не повторялось, ясно? Спиридонов должен получить максимальную очистку, голову оторву, если прошляпите! Все знают, что у него не ладится, так пусть пеняет на себя, а на нас валить не позволю!

Когда мастер, получив свою порцию «проборки», убрался, Пономаренко обратился к гостям.

— Значит, на подмогу из института? — сказал он ворчливо. — Давно пора. Мы тут мучаемся с допотопными процессами, а вы книжечки пописываете о достижениях! Если по вашим книжечкам производство вести, так надо цехи закрывать: что-то далеки они от практики.

— Мне показалось по разговору с мастером, что и вы работаете не так уж хорошо, — возразил Щетинин. — Иначе не пришлось бы и распекать его.

Пономаренко недобро покосился на Щетинина. Угол рта у него начал подергиваться сильнее. Пономаренко дотронулся до рта рукою, останавливая дерганье.

— Есть у нас один вредный тип, Спиридонов, вы скоро познакомитесь: ехида, каких свет не видел, — сказал он сердито. — Он ведь как? Любой свой недочет объясняет, что со стороны подгадили. Но я его подведу, не обрадуется! Так очищаем ему растворы, что он и мечтать не смел. Вот пусть теперь показывает, чего сам стоит!

Он намеревался еще ругать Спиридонова. Щетинин прервал его. Вытащив блокнот, он стал рассказывать, чем они собираются заниматься. В это время Пономаренко вызвали в цех.

— Опять неполадка, — сказал он, вставая. — Вы уж извините, приступим к работе завтра. Не знаю, как по науке, а у нас начинают ровно в восемь и опоздания не поощряются.

Черданцев повел Терентьева и Щетинина в последний из цехов завода — электролизный.

— Серьезный мужчина этот Пономаренко, — заметил Щетинин. — Такому палец в рот не клади ни при каких чинах. Спиридонова он ненавидит крепко, но довольно своеобразно.

— Пономаренко с чинами мало считается, — подтвердил Черданцев. — У нас директора завода часто сменялись, все от него плакались. Чтоб ему палец в рот — и говорить не приходится!

Спиридонова повстречали в цеху. Обширное застекленное помещение электролизного цеха заполняли бетонные ванны, в них кипел разлагаемый электричеством раствор: на одних электродах выделялись металлы, на других — кислород. В воздухе носились едкие испарения, щипало язык, заслезились глаза. Между ваннами неторопливо прогуливался толстячок с добродушным лицом. Это был начальник цеха Спиридонов.

— Вы мои гости! — объявил он, здороваясь с Терентьевым и Щетининым. — Постараемся, чтоб не обижались. Матвеевна моя любого закормит, а насчет горючего я ублажаю. Аркадий говорит, что вы не пьете, верно? Я тоже не очень, да ведь без рюмочки суп еще так-сяк, а котлета рот дерет. Ладно, принуждать не будем, у нас — от каждого по способности.

Он показал свой цех, провел на подстанцию, в конторку, снова вывел в цех. Он был из тех людей, которые не присаживаются, а отдыхают стоя.

— У меня вам работешки немного, — заметил он. — Аркаша науку свою развернул у Пономаренко. Слышал, кое-какие успехи есть. Так, Аркаша?

— Пока небольшие, — сказал Черданцев. — Еще не все налажено.

У Спиридонова засверкали глаза.

— И правильно, что не налажено, — объявил он с удовольствием. — А почему? Начальник цеха всех дергает, на всех орет, во все нос сует. Ни за что не поверю, чтоб у такого пошло новое дело. Неиспробованный процесс требует своего подхода — без шума, без брани, с шуточкой...

Спиридонов, видимо, жалел, что испытание новых методов досталось не ему. Щетинин взял Пономаренко под защиту.

— Но ведь он доставляет вам продукцию высшего качества. Или это неправда?

— Чистит он неплохо, — согласился Спиридонов. — Невредно чистит, кто же спорит? Да в чем причина? Знает, что ославим его на весь завод, дай он нам не по кондиции. Он каждый пустячок учитывает, такой человек...

По цеху шел мастер смены. Спиридонов позвал его.

— Что-то циркуляцию раствора плохо наладили, — сказал он, дружески улыбаясь. — Проверь-ка все ванны, Иван Тимофеевич. Нельзя нам возвращать очистникам слишком загрязненный раствор. — Он повернулся к ученым. — У нас так: Пономаренко чистит растворы, а мы извлекаем из них нужные металлы, при этом растворы опять загрязняются — приходится возвращать на новую очистку.

— Степан Степаныч! — взмолился мастер. — Мы ведь план гоним, конец же месяца! Очистники справятся, ни разу пока не подводили.

Спиридонов заулыбался еще радостнее и шире.

— Справятся, конечно, а ножку подставлять не будем. Ты же знаешь Пономаренко, это же человек шебутной. Ему отправь загрязнений на процент выше нормы, он месяц покоя никому не даст. Нет, уж пусть нам придется труднее, а кричать ему не дадим. Постарайся, Иван Тимофеевич, постарайся; кому-кому, а тебе стыдно жаловаться, что не умеешь.:.

Он ласково похлопал по плечу расстроенного мастера.

— Товарищи с дорожки приустали, конечно, — сказал он Черданцеву. — Ты, Аркаша, отвел бы их к Матвеевне, там и ванну приготовили. А я явлюсь вовремя, так и передай.

— Иначе говоря, часа на три запоздаете, Степан Степаныч?

— К ужину не опоздаю, не бойся. И ты чтоб с нами за стол, Аркаша. Хочешь не хочешь, а надо тебе сегодня Пономаренко побоку.

Когда они выбрались за ворота цеха, Щетинин сказал, усмехаясь:

— Удивительно они, однако, враждуют, этот Спиридонов с Пономаренко. Если такие отношения неприятельские, то что же, черт подери, у них называется дружеской помощью? Ладно, идемте втроем на нашу новую квартиру и подработаем совместно программу первоочередных дел.

27

Терентьев сидел на крышке пачука, под крышкой клокотала темно-красная густая жидкость. В разных чанах цвета растворов менялись в зависимости от того, каких металлов в этих чанах больше: никель окрашивая в ярко-зеленый цвет, кобальт — в вишневый, медь синила, железо делало салатным. В этом пачуке очищались соли кобальта, все остальное являлось вредной примесью, это остальное надо было превратить в липкий, дурно пахнущий осадок, обыкновенную грязь, которую потом уберут мощные вакуумные фильтры. Процесс был прост, операция известная добрую сотню лет: в раствор вливаются осадители, некоторые из лихо носящихся в нем атомов вдруг теряют свою активность, их захватывают другие атомы; вот она растет, новая молекула, к ней прилипает другая, третья, раствор подергивается словно туманом — в жидкости носится уже не невидимый ион, а непрозрачная частичка грязи, она падает на дно. Но почему атомы и ионы теряют способность легко проноситься между другими атомами в жидкости? Что выталкивает их из пор раствора, превращает из невидимых в непрозрачные, из подвижных в неподвижные? Об этом писали и до него, Терентьева, не все было темно, далеко не все, он и не собирается хвастаться. Но после его исследований многое из того, что казалось загадкой, стало азбучно просто — это он вправе сказать.

В стороне прохаживался Черданцев. Он показывал, что не хочет мешать раздумьям Терентьева. Он всматривался в пачуки, дышал жаркими испарениями растворов. Он не поворачивал головы к Терентьеву, но тот знал, что отвлекись он от мыслей, не надо даже говорить, просто знак рукой — Черданцев подойдет. Таким он держится все эти дни — молчаливым, внимательным, холодно вежливым. Он каждым словом, каждым жестом показывает, что признателен за помощь, но мог бы обойтись и сам. Он поработал в институте не напрасно; на пачуках, где внедряются его схемы, процесс идет лучше, это бесспорно. Завод может быть ему благодарен, уже и сейчас ясно, что некоторые недостатки будут устранены. Да, некоторые, но не все. Рецепт остается рецептом, схема схемой; измени условия — все рецепты и схемы летят вверх тормашками, нужно придумывать новые. Здесь требуется теория, общая для всех меняющихся условий, — на это его не хватает. Вот почему при нарушениях технологического режима процесс становится неустойчивым, вот почему сам Черданцев думает лишь об одном — никаких неполадок, никаких отклонений... Нет, надо было ехать, поездка выйдет полезной.

— Аркадий, идите сюда! — негромко позвал Терентьев.

Терентьев вырвал из тетради две страницы, начертил на одной формулы химических реакций, происходящих сейчас в пачуке, на крышке которого они сидели. Нового в этих реакциях не было ничего, каждая из них приводилась в любом учебнике химической технологии.

— Как вы знаете, формула дает не механизм процесса, а его итог, — сказал Терентьев, откладывая в сторону исписанную страницу. — Представить по результату, как в действительности шла реакция, — примерно то же, что по внешнему виду зерна определить, в какое лето оно выросло. Мы с вами этой ошибки не сделаем. Займемся механизмом процесса, а не итогами, итоги определятся сами.

Теперь он набрасывал на бумагу кирпичи, из которых строилось здание процесса, — ионы, их концентрации, их активности. Вначале это были отдельные буквы и цифры, они существовали сами по себе — независимые табличные величины. Потом очередь дошла до связей между ними, буквы и цифры переплетались, усложнялись, одни командовали, другие подчинялись — на странице появились математические формулы. Терентьев вводил Черданцева полностью в свою теорию. И это были уже не одни идеи, голые идеи здесь не годились, надо было не объяснять процессы, а воздействовать на них мощными рычагами. Вот они, эти рычаги, могучая математика расчета, не общая мысль, не частный, кустарно найденный рецепт — полная модель процесса от первой тонны раствора до последнего грамма осадка!

Терентьев протянул Черданцеву обе бумажки:

— Сделайте сами цифровой расчет динамики процесса, Аркадий, и покажите его Михаилу Денисовичу.

— Я пойду в конторку Пономаренко, — сказал Черданцев. — Если понадоблюсь, ищите меня там.

Терентьев смотрел, как он, не спеша и не оборачиваясь, обходил чаны. Он всем своим отчужденным видом показывает по-прежнему, что между ними возможна лишь служебная связь. Ни разу он но поинтересовался, как в институте, что с Ларисой, что с его диссертацией, наконец Щетинин сказал о нем: «Знает кот, чье молоко вылакал!»

Терентьев подпер рукою подбородок. Он вспоминал вчерашний разговор со Спиридоновым, тот пустился в восхваление своего любимца Аркадия. Что неожиданного в его словах? О таких биографиях часто пишут в книгах и газетных очерках, стандартный случай, если разобраться. Да, но именно в этом и было неожиданное — в стандартности случая!

Они со Щетининым раздевались. Спиридонов зевал, почесывая волосатую грудь; он сидел уже не у стола, а около двери, готовый в любую минуту, как гости нырнут под одеяла, убраться восвояси.

— Аркашка — это парень! — говорил он. — Удивительный: землю копытом роет, башкой стену прошибает. Этот не подкачает, своего добьется.

— Землю-то роет и стену башкой прошибает, — заметил Щетинин, — но бывает, что и подкачивает.

— Что вы! Вы его не знаете, а я, можно сказать, на руках вынянчил. Сколько его за уши драто и по заднице отшлепано — страх! Бедовый был хлопец, в ногах шарикоподшипники, всюду носится как угорелый, не умеет ходить, и точка! И ведь тогда же, пацаном еще, насела на него эта мысль — переделать технологию, чтоб народ не задыхался от вредных испарений. Ну, мы посмеивались: что с него возьмешь, мечтает, как все детишки, пусть мечтает, не о плохом же мечтает, не о разбоях и пьянках, мечта самая одобрительная, так меж собой положили. А он после школы в Москву, в институт цветных металлов, как раз по нашему производству, а оттуда письмо: экзамены трудные, конкурс страшенный, надежды на прием, простите за выражение, с гулькин нос. Мы тогда переживали за него, при встрече на улице, меж прочего дела, обязательно: «Не слыхал, есть что нового от Аркашки?» Ужасно боялись, что провалится. Нет, вылез и сразу бух телеграмму: «От студента Черданцева всему коллективу сердечный привет, засучиваю рукава поворачивать отсталую технологию на путь современной науки». Так прямо и отбил, сорванец, хоть бы телеграфисток постеснялся, — уши драть в столице некому! А насчет поворота где же, азы приходилось вызубривать, и поученее его люди думали, ничего не придумали. А он все свое: переверну, чтоб работа наша стала легкой и радостной, вот только институт закончу, наукой в полном объеме овладею. Каждый год приезжает к нам на каникулы, то у меня, то у Пономаренко останавливается, вредный он человек, Пономаренко, обязательно на другой год отобьет, если этот у меня; ну и конечно беготня по заводу, у пачуков часами стоит, и один разговор: переделаю, а для этого пойду в аспирантуру, здесь учеба, а не наука, настоящая наука пойдет после. Таким манером заканчивает он институт, получает диплом, ему в Москву от всего коллектива телеграфное поздравление, а сами ждем, куда же дальше, на завод или точно в науку? Многие полагали: инженер, чего еще, детские мечтаньица можно теперь и побоку. А я знал: нет, не таков наш Аркашка, он двинется завоевывать, что обещал, не мечта это уже, а прямой жизненный путь. И Пономаренко, вот же нехороший человек, обязательно при встрече сунет: я больше твоего в него верю, никогда он своих не обманет. И тут узнаем: принят Аркашка в аспирантуру, руководитель у него знаменитость, академик, и тема научной работы как раз по нашей технологии: «Разделение металлов методом осаждения основных солей из нейтральных растворов». Пономаренко всюду хвастается, что название подыскал он, только врет, он всегда врет, я от Аркашки еще десять лет назад слыхал, что одной этой темой и будет заниматься. Ну, о дальнейшем вам лучше моего известно — и как разработал он свою тему, и как доктора на защите ему хлопали, и как мы технолога заводского в Москву командировали, чтоб не дал Аркашку в обиду, если пойдут его заклевывать товарищи ученые. Да нет, все сошло отменно, один лишь завистник черного шара вкатил, слыхали, наверно?

Терентьев посмотрел на Щетинина, тот буркнул, стаскивая ботинки:

— Было, было, нашелся один недоброжелатель.

— Плохие люди везде попадаются, — закончил свое излияние Спиридонов и сладко зевнул. — Свет не без подлых людей, отрыжка старины.

Щетинин еще в дороге пообещал, что на заводе не будет заводить новых споров о диссертации Черданцева. Терентьев видел, что Щетинину нелегко: его раздражали восхваления Спиридонова. Но он, вероятно, сдержался бы, если бы Спиридонов не сказал последних слов.

— Так, значит, сразу и подлые? — недобро поинтересовался Щетинин. — И все потому, что не согласились, что ваш Аркадий прав? А может, он на самом деле неправ, вы таким вопросом не задавались?

Спиридонов не ожидал отпора.

— Ну как же неправ? — сказал он. — То есть в чем, так сказать, неправ?

— Хватит, Михаил, — недовольно проговорил Терентьев. — Условились к этим делам не возвращаться. Пора спать.

— Нет, уж разреши! — оборвал его Щетинин. — Меня обвиняют, что я завистник, а я должен молчать? Первый я этого разговора не начинал, но хулу сносить безнаказанно не намерен.

Спиридонов был в замешательстве. Он побагровел от смущения.

— Вот уж не ожидал, что это вы, Михаил Денисыч... Простите, если обидел, по дурости... Очень жалею, что разговор получился глупый!

— Почему же глупый? Вполне умный разговор. И что вы любите и защищаете своего Аркадия — тоже неплохо. Плохо другое — что, не разведав причин, сразу объявляете мерзавцами противников вашего любимца.

Спиридонов колебался, закруглять ли беседу, принявшую неприятный ход, или дознаваться, что же такое натворил Аркадий.

— Извините великодушно, когда что не так... — начал он осторожно. — Так в чем проштрафился наш Аркашка? Вот ведь сорванец, и здесь от его выбрыков и коленец ни дня покоя не бывало, и там, выходит, натворил...

— Во всяком случае, вел себя неэтично.

Спиридонов не глядел на Щетинина. Тот рассказал вкратце, что получилось с диссертацией. Спиридонов растерялся, как будто его самого уличили в неблаговидном поступке. Было видно, что он ошеломлен. Но он еще не всему верил, о чем говорил Щетинин. Терентьев, с интересом наблюдавший за ними, видел, что Спиридонов пытается найти если не оправдание Черданцеву, то хоть как-то смягчить его вину. Щетинин не упомянул имени Терентьева в своем рассказе, и Спиридонов, помолчав, спросил:

— А скажите, Михаил Денисович... Не вас лично обидел Аркашка? То есть я хочу...

Щетинин мгновенно вспылил:

— Да, меня! Именно меня! Разве стал бы я переживать, если бы кого другого? Мы, ученые, ведь такие: если соседа — молчок, а если тебя — крику на весь мир!.. Разве вы этого но знали?

Спиридонов стал извиняться. От его недавнего болтливого благодушия не осталось и следа. Он сумрачно качал головой.

— На заводе у нас: похвали директор один цех и не упомяни, что другой помогал, — обида! У вас же, так сказать, личная работа, имена... Ах, босяк! Ах, босяк!

Он и в дверях что-то возмущенно бормотал себе под нос. Щетинин, удовлетворенный, погасил свет и вскоре заснул.

Терентьев долго не засыпал. Он думал не о споре Щетинина со Спиридоновым. Проступок Черданцева становился вчерашним днем, Терентьев не любил углубляться в прошлое. Предстоит большая совместная работа: как долго она продлится, к каким результатам приведет? Нет, как странно и неразрывно перепутались их жизни! Две разные дороги слились в одну: стандартная по нашим временам дорожка рабочего паренька, одержимого мечтой облегчить труд своих товарищей, с усилием пробивающегося для этой цели в науку, и мой мучительно кривой путь — что возникнет от этого слияния, позволительно ли оно? А может, именно здесь, с этого пункта слияния, начинается большая магистраль, мы лишь не знаем этого, но оно так? Черданцев живет производством, оно у него в крови, но он никогда не поднимется над ним достаточно высоко, чтоб окинуть его обобщающим взглядом. А я все свои теории создавал для производства, не зная и не видя его, работал в пустоту? Пора, пора по-другому, по-настоящему! С этими мыслями Терентьев уснул.

Терентьев, вспоминая этот вчерашний разговор и свои мысли после него, продолжал сидеть на пачуке, рассеянно вслушиваясь в клокотание раствора под крышкой. Реакция шла к концу, становилось все труднее дышать. Надо было уходить от вредных испарений из чана. Он уже три раза порывался встать, но садился снова, забывая, что хотел сделать.

К нему подошел Щетинин и сел рядом.

— Я только что согласовал с главным инженером программу работ, — сказал он. — Новые реактивы, точная дозировка, анализы — все это они обеспечат. Заводская лаборатория выделяет на время испытаний половину своего персонала и приборов, с ними тоже договорено. Завтра проведу инструктаж мастеров и инженеров, директор подписал приказ, что наши распоряжения для них обязательны. В общем, машина закрутилась.

— Машина закрутилась, — согласился Терентьев. Щетинин шмыгнул носом.

— Плохое ты выбрал местечко для отдыха.

— Плохое. Давай на свежий воздух.

— Давай, — согласился Щетинин и не пошевелился. Через некоторое время Терентьев сказал:

— Я, между прочим, не дождавшись тебя, предложил Черданцеву рассчитать но моим формулам динамику одного процесса — вот этого, под нами. Завтра возьмем другой, а там и остальные. Все данные выписал ему на бумажке, он ушел с ними. Проверь, что у него получится.

Щетинин вскочил с деревянной крышки чана.

— Пойдем отсюда. Не понимаю, сколько ты еще собираешься дышать этим проклятым хлором!

За воротами цеха Терентьев показал рукой на шлакоотвал и черневший за ним кустарник.

— Я погуляю. Вечером поговорим, как быть дальше.

— Ладно, а я с твоим Черданцевым засяду за расчеты. В математике он не очень силен, это ты, надеюсь, не будешь оспаривать?

28

Проходя мимо всегда открытых огромных ворот плавильного цеха, Терентьев остановился. В один из конверторов выливали ковш расплава из отражательной печи, во все стороны летели брызги металла, багровое сияние озаряло цех. Терентьев, подумав, направился внутрь цеха.

Он теперь часто приходил сюда. Каждый день после обеда и перед ужином он обходил заводские здания. Эти обходы заменяли ему длинные прогулки, к которым он привык в Москве. Он часами простаивал на рудном дворе, следя за работой грейферных кранов, нагружавших транспортеры золотистыми глыбами, бродил вокруг агломерационной машины, выпекавшей бесконечный пирог из рудной мелочи и кокса, любовался, как выливали шлак, — огненная река сперва гремела, потом затихала, шипя, на крутых склонах шлакоотвала: со стороны могло вообразиться, будто лава низвергнулась из кратера и медленно ползла в долину.

Но больше всего ему нравилось в плавильном цехе.

В конце огромного помещения были навалены флюсы — холмик из песчаника и оборотных материалов, предназначенных к переплавке. У подножия холмика копошились рабочие, нагружавшие вручную небольшие по здешним масштабам — на тонну или две — совки, которые потом мостовой кран подвозил к конверторам. На вершине этого холмика Терентьев устроил себе удобный наблюдательный пункт. Он и сейчас направился сюда. Подстелив газету, он уселся на темную ноздреватую глыбу остывшего расплава. Перед ним простирался цех — грохочущий, гремящий и звенящий, тускло освещенный лампами, нестерпимо сверкающий расплавленным металлом.

Все три конвертора — громадные бочки, на три четверти заполненные жидким металлом, — были в работе. В их недра врывался сжатый воздух, он оглушительно гремел в фурмах, как в трубах органа, то свистел мощно и тонко, то грохотал громовым басом, то рассыпался гигантским шипом — исполинская, по-своему стройная мелодия сотрясала перекрытия цеха. А из узких горловин конвертора в нависшие над ними металлические шапки напыльников била неиссякающая струя огня и газа, взметались сияющие брызги. «Стальные вулканы!» — думал Терентьев, любуясь конверторами. Если это были вулканы, то они находились в состоянии постоянного извержения.

Один из конверторов стал поворачиваться. Дико взревел воздух, вырвавшийся наконец на волю в освобожденных фурмах; на минуту все прочие грохоты и свисты цеха потонули в этом неистовом реве, потом дутье выключили, и сразу стало тише. Горловина конвертора медленно наклонялась к поставленному внизу ковшу. Сумрачное сияние заливало цех, оно становилось ярче и горячее. Терентьев увидел сверкающую ванну расплава — даже сюда, на добрую сотню метров, доносился жар, пышущий из отверстия. Потом хлынула жидкая масса, и Терентьев заслонил рукой глаза: блеск нагретого до тысячи трехсот градусов металла становился нестерпимым. Металл рушился сверкающим водопадом, шум его паденья напоминал грохот непрерывно продолжающегося взрыва, от ковша разбегались во все стороны воздушные волны. Терентьев почувствовал, как на лицо его давит расширяющийся нагретый воздух, уши вдруг заложило. Затем поток иссяк, конвертор вывернули в прежнее положение и пустили дутье — наполовину опустошенный, он загремел высоким мощным звуком. Крюк мостового крана подхватил заполненный доверху ковш и понес его в другой угол цеха — разливать сваренный металл в изложницы.

Только сейчас Терентьев ощутил, что стало трудно дышать. Из конвертора, когда его выворачивали, вырывались сернистые газы, они быстро заполнили высокое помещение. Рабочие дышали через трубки противогазов; многие, привыкшие к газу, не обращали на него внимания, но Терентьеву становилось все хуже. Сера скребла в горле, ела глаза, жгла в носу. Кашляя и чихая, зажимая лицо платком, Терентьев слез со своего холма из флюсов. Как ни интересно было в цеху, надо было выбираться скорее наружу. Он побежал к воротам.

Прошло минут десять, прежде чем наладилось дыхание. Терентьев спустился со шлакоотвала и пошел в сторону от завода и поселка. Он пробирался сквозь кладбище погибших от газа растений — окаменевший, скрипевший мертвыми голосами кустарник. Терентьев шел словно по костям, сухой треск, раздававшийся при каждом шаге, скоро стал нестерпимым. Терентьев взобрался на пригорочек.

На каменистую равнину, лежащую перед ним, надвигались сумерки. Небо сперва побледнело, потом окрасилось в какие-то розовые полутона. Невысоко над горизонтом вспыхнула Венера, сбоку солидно сиял Юпитер. С далеких гор потянуло холодом.

Терентьев глядел на темнеющее небо и вспоминал, как в годы ссылки часто выбирался подальше от «места обитания» и ложился на землю. Он мог часами лежать так и любоваться небом. В пустоте неба было что-то манящее, хватающее за сердце. Оно звало к себе, кружило голову. Терентьев тогда досадовал на землю, на земле ему было не очень удобно, так сложилась его жизнь. Зато там, вверху, открывались просторы на все стороны — лети мыслью, куда хочешь, мечтай, о чем вздумается. Друг Терентьева поэт Танев выразил это чувство стихами, Терентьев часто бормотал про себя его строчки:

Земля всегда лишь мать-земля сырая,

А небо есть отец — мне надо в небо,

В пустую пустоту, к чертям на шею!

— А вот Щетинин всегда неплохо чувствовал себя на земле, — вслух сказал Терентьев. — Земля ему своя, он крепко упирается в нее обеими ногами. Этому не пришлось тосковать о «пустой пустоте»!

Терентьев улыбнулся. Михаил, Михаил, милый надоедливый друг, сколько ты мне попортил крови, сколько сделал добра! Да, конечно, на земле хорошо: сейчас, после многих лет испытаний, я чувствую это особенно ясно! Но только я не хочу забывать и о небе, земля без неба темна!

Одна звезда за другой вспыхивали в холодеющей вышине. Когда их стало много, Терентьев встал и, запахнув пальто, побрел к поселку.

29

Щетинин нашел Черданцев в пустой конторке Пономаренко: чтоб не мешать расчетам, начальник цеха переселился в комнатушку к мастерам и передал диспетчеру, чтоб ему звонили туда. Черданцев неторопливо и аккуратно заполнял цифрами один лист за другим. Щетинин ценил аккуратность, но не терпел медлительности. Он сам схватил логарифмическую линейку. Подсчитывал он с такой быстротой, что Черданцев не успевал записывать посыпавшиеся на него цифры.

Часа через два Щетинин бросил линейку и потянулся.

— Отлично поработали! Ну-ка, поглядим, что получается в итоге, и по домам!

Из конторки они вышли вместе. Черданцев решил посмотреть, не расстроился ли налаженный процесс в пачуках, Щетинин пошел наружу. Черданцева подозвал мастер и попросил позвонить Спиридонову.

— Зайди ко мне в электролизный, — сказал Спиридонов. — Всем наказывал: как появишься, сейчас же чтоб позвонил, — три часа не выхожу из кабинета!

— Могли звякнуть в конторку.

— Не мог. Там у тебя ученое начальство расположилось, а надо без него.

Когда Черданцев пришел к Спиридонову, тот запер дверь. Все это было так непохоже на его обычаи — и длительное сидение в кабинете и закрывание дверей, — что Черданцев посмотрел на него с тревогой.

— Важная причина, — объяснил Спиридонов. — Причина эта — ты. Ну, рассказывай, шебутная голова, что ты там, в науке своей, натворил?

— Не понимаю, Степан Степаныч, о чем вы?

— Вот еще, не понимаю! Все понимаешь! Рассказывай, рассказывай! Такое о тебе узнал — ночь не спал! Ну, был бы ты помоложе — ремень бы снял, честное слово!

У Черданцева сжались губы, похолодели руки. Он встал.

— Это кто же вам обо мне наболтал? Жильцы, что ли?

— Сиди, сиди! Разговор долгий, в ногах правды нет.

— Я спрашиваю, кто вам насплетничал?

— Уж и насплетничал? А я так думаю: правда!.. Набезобразничал, да еще как! Живешь среди людей, а держишься не по-людски!

— Нет, скажите: Щетинин?

— Кто же еще? Дылда та высоченная все отмалчивается. За вечерок ежели пять слов промычит — много!

— Ничего я вам не скажу! Нечего мне говорить. А недовольны, поспрошайте еще своего Щетинила, он все разъяснит, что было и чего не было.

Спиридонов укоризненно покачал головой:

— Гонор не по делам, Аркаша!.. Ладно, зайдем с другого бока... С отцом, покойником Николаем Семенычем, поделился бы, что произошло?

Черданцев старался не глядеть на Спиридонова.

— Отцу сказал бы...

— Значит, и мне скажешь, Аркаша. Не тяни, говорю, нелегко было слушать о тебе такое! Мы же тобой тут все гордились! И вдруг!..

Черданцев запинался. Спиридонов задавал вопросы, настойчиво вытягивал ответы. Потом, хмурый и взволнованный, он заходил по комнате. Черданцев редко видел его таким расстроенным.

— Поймите, Степан Степаныч! — горячо сказал Черданцев. — Он был в моих глазах не Терентьевым, плевать мне на какого-то Терентьева — нет, самой наукой!

Спиридонов все больше хмурился. — Слушай, Аркаша, — сказал он, останавливаясь, — ты никогда не задумывался, почему ни твой любимец Пономаренко мне, ни я ему никогда не подкладываем пакости?

— Еще бы вы подкладывали!

— Во-во, еще бы! А почему? Одно дело работаем, винтики одного механизма; навреди в чем я ему или он мне — большое производство развалится. А между прочим, думаешь, я так и мыслю себе, что он винтик там или рычажок? Да ни в какую! Всегда помню, каков он человек, и сообразуюсь с этим. И он меня помнит, каждый пустячок во мне учитывает, такой уж он, этот твой Пономаренко!

— Ну и что же?

— А вот то! В науке вашей каждый работает свое. Уж где-где, а там нельзя забывать, кто чем дышит.

— Да поймите, Степан Степаныч, это же форма, что корпят над своим. А существо — одна наука, нет особой для каждого ученого!..

— Эх, Аркашка, Аркашка, путаницы у тебя в голове — не приводи бог... Одна, одна!.. И матери с отцами одно дело делают — поддерживают человеческий род, так ведь, по существу? А ребенок все же свой, не форма это, правда?

Черданцев вспыхнул:

— Что это вы все один и тот же аргумент суете: мать, ребенок!

— Не знаю, кто еще, а, видимо, аргумент сильный, если я не один... Теперь окажи: и сейчас считаешь себя правым?

Черданцев опустил голову и ничего не ответил. Спиридонов положил ему руку на плечо.

— А дальше как надумал? Собираешься возвращаться в институт?

Черданцев пожал плечами.

— А что остается? Я у них в штате.

— Штат не душа. По душе ты не институтский, а заводской. Здесь твое место.

— Место, место! — невесело сказал Черданцев. — Здесь без науки тоже многого не наработаешь.

— Почему без науки? С наукой! Кому-кому, а тебе без науки на производстве просто грех. Но только раньше ты хотел эту науку сам всю произвести, своими руками — не по плечу вышло, больно уж тяжкая задачка! Вон доктора понаехали, вместе вы чего и добьетесь. Так и надо: ты здесь, они там, а работа совместная, каждый — свою часть. Вроде как мы с Пономаренко.

Спиридонов понизил голос, наклонился к Черданцеву:

— И местечко есть свободное — заведующий технического отдела, теперешнего нашего зава переводят на Урал. Поработаешь года три, а там и до главного инженера доберешься.

— Ладно, — сказал Черданцев. — Вы уж расписали мою жизненную дорогу! До министра не доберусь?

— Это как сумеешь. Ты сразу не отвечай, подумай. Разочти со всех сторон. А сейчас иди; столько времени я с тобой потерял, страх!

Черданцев вышел из цеха. На шоссе ему повстречался Терентьев, возвращавшийся в поселок.

— Расчеты мы закончили, — сказал Черданцев. — Михаил Денисович унес их с собою.

— Что получилось?

— Признаться, я поражен... Выходит, при каждом отклонении от режима мы теряли реактивы и металлы, а потерь можно было избежать. И вовсе эти отклонения не страшны, как мне казалось.

Они шли по улице. Черданцев замолчал. Он был задумчив и хмур.

— Вы что ж не радуетесь, Аркадий? Ведь ваша мечта об усовершенствовании заводской технологии приближается к осуществлению.

Черданцев враждебно взглянул на Терентьева.

— Мне странны ваши вопросы, Борис Семеныч. До сих пор вас мало интересовало, о чем я мечтаю, если мои мечты не касались знакомых вам людей, конечно.

— Понимаю, о чем вы говорите.

— А я и не скрываю, что о Ларисе... Может, вы хотите о ней потолковать? Боюсь, тут мы никогда не поймем друг друга. В любви, насколько я знаю, бывает соперничество, а не сотрудничество, это штука сугубо-индивидуальная. Любят для себя, а не для другого... Сейчас ваша взяла, я это вижу отчетливо...

— По-моему, у нас разное понимание любви. Иногда думают и не об одном себе, а о том, кого любят, — чтоб ему было хорошо и что в этом твое счастье.

— Вот как! — Черданцев с ледяным бешенством посмотрел на Терентьева. — Если бы я хоть минуту верил в ваши красивые фразы, я бы сказал вам: «Вы удивительный человек, Борис Семеныч, вы такой, что себя не пощадите, чтоб ей было хорошо. И вы понимаете, что если я что сделал и не так, то все же я не карьерист и люблю Ларису. Так напишите ей об этом, чтоб и она знала, она верит каждому вашему слову, себе верит меньше, чем вам». Вот как бы я разговаривал с вами, если бы не имел доказательств, что вы, как и все, думаете прежде всего о себе...

Он ненавидел Терентьева до того, что лицо его, всегда благоустроенное, как иногда бывают благоустроенны комнаты и одежда, исказила ярость: усики приподнялись вверх, широкие брови сжались, глаза впились иглами. «В бешенстве он не дерется, а кусается, — подумал Терентьев. — Если еще немного озлобить его, он прыгнет мне на плечи, как злой кот». Ему припомнился Амонасро, тот, вероятно, такой же неистовый в гневе. Терентьеву вдруг захотелось, чтобы Черданцев бросился на него. Боже, как бы летел тогда — ногами в воздухе — этот дерзкий, себялюбивый человек! У Терентьева сжались кулаки, он задышал тяжело и неровно.

— Писать Ларисе о вашей любви я, конечно, не буду!

Черданцев, опоминаясь от вспышки, отвернулся.

— Так что обойдемся без выспренних фраз, — сказал он презрительно. — Я верю в поступки, а не в пожелания... А поклонение вам лично я уже давно пережил.

Терентьев повернулся и ушел, не прощаясь. Он прошел дом Спиридонова, где его поджидал с ужином Щетинин, вышел на площадь и присел на скамеечку. Справа помещалась почта, слева — школа, посередине — поселковый Совет. Сзади поднималось массивное здание заводоуправления. Терентьев откинул голову, прикрыл глаза, волнение стихало в нем, можно было снова рассуждать, не трясясь от негодования. Ничего, в сущности, не случилось: тебя попросили отказаться от Ларисы, ты послал соперника к черту — старинное, веками испытанное объяснение, оно кончилось точно так же, как и всегда заканчивались подобные объяснения. Любовь не кусок хлеба, ее не разделить между двумя. Любовь неделима, говорю тебе, ничего не изменилось!

Терентьев несколько раз повторил про себя с гневом: «Ничего не изменилось!» Он знал, что изменилось очень многое. И он иной, и Аркадий не тот. Лариса тогда, в комнате своей, сказала: «Вы были бы настоящим отцом моему ребенку». Нет, сейчас он не отступится от нее легко, как однажды отступился, там, у Большого театра... Но что, если когда-нибудь она крикнет: «Ты знал, что Аркадий переменился, почему ты умолчал?» Ларочка, девочка моя, любовь моя к тебе чиста, как ты сама. Я не воспользуюсь тем, что он здесь, а ты там и что около тебя скоро буду я. Ты должна приехать сюда — выбрать без лжи и обмана, куда тебе идти!

— Она решит сама! — сказал Терентьев, поднимаясь со скамейки. — Пусть она решит сама!

Терентьев вошел на почту и попросил два телеграфных бланка. На одном он написал телеграмму Жигалову: «Работы разворачиваются успешно, срочно командируйте лаборантку Ларису Мартынову, без нее затрудняются важные испытания. Терентьев». Вторая была адресована самой Ларисе: «Ларочка, вы очень нужны нам здесь. Выезжайте немедленно. Борис Семенович».

— На ваше имя получена радиограмма из Москвы, — сказала телеграфистка, принимая бланки.

Радиограмма была от Жигалова. Директор института сообщал, что Всесоюзная аттестационная комиссия диссертацию Черданцева не утвердила. На днях приезжает из Италии Шутак. Хорошо, что дело благополучно завершено до его приезда.

Терентьев положил радиограмму в карман. Все, в конце концов, совершалось согласно непреложным законам. Жесток закон, но закон — так говорили еще древние. Он все же поморщился.

30

Щетинин одетый валялся на кровати. Он промычал, не поворачивая головы:

— Ужин на столе под газетой. И портвейн местного изготовления. Я уже пил и ел. После еды посмотри, какой получается программа процесса, — великолепный расчет!

— Ты знаешь, что портвейн я не люблю, — сказал Терентьев, снимая со стола газету.

— Черта с два найдешь о этом паршивом местечке что-либо, помимо портвейна. Вино всесоюзного распространения, всюду оно свое и всюду скверное. А не хочешь портвейна, пей водку, она чище. Водка в тумбочке.

Терентьев отказался я от водки. Он молча ел.

— Ужас что ты за человек! — сказал через некоторое время Щетинин, присаживаясь к столу. — Просто жить с тобой невозможно. Передай мне кусок сыра. Ну, чего ты молчишь, скажи на милость?

— А что говорить? И так все ясно, по-моему.

— Да, — сказал Щетинин. — И по-моему, все стало ясно. Спиридонов своей апологией Аркадия кое-что в нем разъяснил, хотя и не оправдал.

Терентьев отхлебнул портвейна.

— У меня свое мнение о всех этих делах.

Щетинин насмешливо покосился на него.

— Не сомневаюсь, что свое. Ты ведь воображаешь, что живешь в грядущем, лишь иногда окидываешь наше настоящее благожелательным, всепрощающим взглядом.

— Что ты еще скажешь?

— Ничего для тебя нового. Работать надо, понимаешь? Работать, а не болтать! Знаешь, где наше будущее? В нашей сегодняшней работе, в наших сегодняшних поисках — найдем что новое, оно и станет истинным будущим! И в этой связи разреши узнать: мы полдня с Черданцевым пропыхтели над вычислением параметров процесса, согласно формулам твоей же собственной теории. Неужели тебя не интересуют результаты? Я жду не дождусь, когда ты покончишь с едой я примешься за дело.

— А каково твое мнение о том, что получается?

Щетинин с торжеством стукнул ладонью по столу.

— Совершенно новый режим — экономия реактивов, более полное извлечение металлов. И за чистый воздух в цеху теперь ручаюсь.

Терентьев отодвинул тарелки и стаканы и разложил на столе листки с расчетами.